

Е. ИЛЬИНА-ПОЛТОРАЦКАЯ

ИЗЪ КРАСИВАГО ПРОШЛАГО



Елена Ильина Полторацкая.

ИЗЪ КРАСИВАГО ПРОШЛАГО

1922

Складъ изданія
Ольга Дьякова и Ко. въ Берлинѣ.

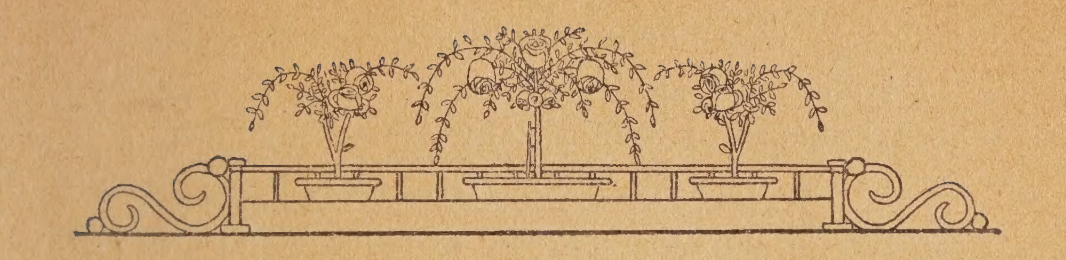


Исполнено
Издательствомъ
ОЛЬГА ДЬЯКОВА и Ко.
въ Берлинѣ

N. Bespaloff

1.

Жаръ-Цвѣтъ.



. . . — »Васъ ждетъ дама,« — доложилъ лакей, принимая отъ Осоргина пальто и шляпу.

— »Дама?« — переспросилъ Осоргинъ съ удивленіемъ.

— »Да, незнакомая дама; я проводилъ ихъ въ кабинетъ и сказалъ, что вы скоро будете,« — прибавилъ онъ, читая во взглядѣ Осоргина разсѣянно недоумѣвающее выраженіе. Потомъ, какъ бы въ подтвержденіе своихъ словъ, онъ широко распахнулъ передъ нимъ дверь кабинета.

Осоргинъ переступилъ порогъ и привычнымъ быстрымъ взглядомъ окинулъ комнату.

Прямо напротивъ, спиной къ окну, въ глубокомъ кожаномъ креслѣ сидѣла дама. Онъ не могъ сразу разглядѣть ея лица, скрытаго вуалеткой и почти ушедшаго въ густой, высокій мѣхъ чернобурыхъ лисицъ, но во всемъ ея силуэтѣ, въ позѣ, въ линіи закинутыхъ одна на другую, стройныхъ, съ узкими ступнями ногъ, ему почувствовалось что-то безконечно знакомое, полузабытое, волнующее и пугающее одновременно . . .

Онъ машинально поклонился. Легкій кивокъ былъ ея отвѣтомъ, не нарушая воцарившагося молчанія. Осоргинъ подошелъ ближе. Лицо не-

знакомки совершенно потонуло въ пушистомъ мѣху . . .

Волна знакомаго аромата долетѣла до него и возбуждающе защекотала нервы.

— »Чѣмъ могу служить, сударыня?« — Молчанье, . . потомъ, внезапно раздавшійся смѣхъ жемчужными переливами коснулся его слуха и яркимъ воспомнаніемъ озарилось его сознаніе.

. . . Такъ умѣла смѣяться лишь одна женщина въ мірѣ — Маріанна . . .

И какъ бы отвѣчая его мысли, вытянулась изъ темнаго мѣха головка, приподнялась откинутая ловкимъ движеніемъ руки вуалетка и сразу, во всей ошеломляющей яркости, обнаружились зеленые, лучистые, насмѣшливо-грустные, узкіе глаза и острый, ослѣпительный рядъ зубовъ широко улыбающагося, мучительно знакомаго, мучительно нѣкогда желаннаго, рта.

. . . — »Вы, . . . вы . . .« — вырвалось у него глухо.

— »Да, я! узнали, наконецъ. Меня-то вѣдь вы не ждали, . . . а вотъ видите, нашла васъ, . . . пришла . . . и жду, обуреваемая самыми разнообразными чувстами« . . .

Осоргинъ долгимъ поцѣлуемъ прильнулъ къ ея душистымъ, теплымъ рукамъ. Закрывъ глаза, онъ весь отдался власти ихъ прикосновенія, ихъ гипнотической силѣ, мучительно будившей далекія воспоминанія, яркой, потомъ постепенно — угасшей мечты, ушедшаго прошлаго . . .

Она продолжала сидѣть въ той-же позѣ, точно завороженная, не отнимая отъ его губъ своихъ,

слегка дрожащихъ ладоней. Еле уловимая, скорбная тѣнь скользнула по ея лицу и опустила длинныя рѣсницы, затуманившія выраженіе печальныхъ узкихъ глазъ.

. . . Внезапно ея руки, мягко освободившись, страстно-рѣшительнымъ броскомъ обвились вокругъ его шеи и совсѣмъ близко вытянулась къ нему ея головка. Широко раскрытыми глазами старалась она прочесть его мысли, раскрыть, распахнуть его душу, полонить его всего снова, снова почувствовать свою женскую власть надъ нимъ . . . и онъ, безсильно растворился въ ея порывѣ, чувствуя ее впервые, такъ близко около себя, такъ, какъ это часто грезилось ему въ мечтахъ, сводя съ ума его желаніе . . .

Въ страстномъ, все забывающемъ поцѣлуѣ встрѣтились ихъ губы, не отрываясь, прильнувъ, . . слившись въ одно цѣлое . . .

— »Ахъ, какъ хорошо!« — прошептала Маріанна, поблѣднѣвшая, точно смертельно раненная, съ непроницаемыми вѣками закрытыхъ глазъ.

— »Вотъ, именно такъ представляла я себѣ этотъ поцѣлуй, мечтая о немъ въ продолженіи двухъ долгихъ лѣтъ, . . . такихъ долгихъ, . . . безконечно долгихъ . . .« —

— »Любишь, . . . любишь?« — прижавшись къ душистому мѣху ея лисицъ, шепталъ Осоргинъ.

— »Такъ почему же не раньше? . . почему ушла тогда безъ словъ, безъ прощанья потонула въ безвѣстной пропасти своего внезапнаго исчезновенія?« —

— »Ушла сознательно, ушла потому что слишкомъ любила, ушла потому что это поняла и знала, что любовь порабощенная несетъ однѣ страданія и разочарованія, рождая пресыщеніе . . . Вѣдь васъ, мужчинъ, надо умѣть — держать впроголодь. Не сдѣлаешь вамъ больно, такъ вы расплатитесь еще жестче, безжалостнѣе . . . Я ушла лечиться . . .« —

— »И, что-же вылечилась?« —

— »Отъ любви пожалуй, . . . отъ страсти нѣтъ. Слишкомъ заманчиво было ожиданіе, фантазію всегда дразнило . . . Ну, а вы, многолюбъ, вѣроятно, быстро забыли меня въ первыхъ-же женскихъ объятьяхъ? . . . — ласково проводя рукой по его лбу и волосамъ, говорила Маріанна и эти, шутливо сказанныя слова, болѣзненно пробудили Осоргина къ дѣйствительности.

Онъ, молча высвободился изъ ея объятія и растерянно подошелъ къ окну. Осенній мелкій дождь колотилъ въ стекло. Сѣрый день безпросвѣтныхъ будней, сумрачно глядѣлъ ему на встрѣчу, сковывая сырымъ холодомъ и возвращая его съ высотъ Олимпа къ трясинѣ повседневности. Бремя лѣтъ заявляло свои права, смѣняя только-что пережитый имъ юношескій пылъ.

Осоргинъ не могъ разобраться въ противорѣчивыхъ чувствахъ самоанализа, уяснить себѣ, — былъ ли онъ счастливъ этому вихрю, внезапно ворвавшемуся въ его жизнь, который своимъ появленіемъ выбивалъ его изъ привычной колеи; вносилъ хаосъ и смятеніе въ его спокойную жизнь. Вмѣстѣ съ тѣмъ присутствіе Маріанны сладкимъ ядомъ тя

готило и раздражало его нервы, возбуждая неуспокоившееся, неудовлетворенное желаніе . . .

. . . А Маріанна, точно угадывая его мысли, загорѣлась новымъ задоромъ: устремивъ глаза куда-то вдаль, она смѣялась короткимъ, беззвучнымъ смѣхомъ своимъ мыслямъ, ей одной доступнымъ, сжигающимъ ее сознаніемъ ея всепобѣждающей женственности.

Осоргинъ обернулся и уже не въ силахъ былъ больше разсуждать. Онъ, молча опустился на колѣни у ея кресла и долгимъ, долгимъ взглядомъ созерцалъ ее всю, пьянѣя ея близостью, счастьемъ надвигавшейся, неизбѣжно-близкой минуты обладанья . . . .

Сумерки сгущались. Они сидѣли, молча прижавшись другъ къ другу, боясь нарушить сладость тишины, спугнуть блаженное настроеніе, спаявшее ихъ мозгъ и чувства хитросплетенными путами счастливаго покоя, пришедшаго на смѣну укрощеннымъ страстямъ. Слова отсутствовали. Что они могли сказать другъ другу большаго, нежели это молчаливое, тѣсное объятье, въ темномъ углу дивана, среди сиреневыхъ сумраковъ надвигавшейся ночи . . .

. . . Бодрый и веселый, точно сбросивъ съ плечъ два десятка лѣтъ, ожидалъ Осоргинъ на

слѣдующій день Маріанну. Она, безшумной походкой подошла сзади къ его креслу и, обвивъ его шею обнаженными руками, запрокинула его голову и мелкими, скользящими поцѣлуями, попеременно цѣловала его глаза, лобъ, губы, все его лицо, его волосы, тонкую бѣлѣющую нить пробора.

Осоргинъ сидѣлъ неподвижно, отдавшись ея ласкамъ, вдыхая ароматъ ея духовъ, ея тѣла . . . Потомъ, повинуясь сразу возгорѣвшейся въ немъ страсти, схватилъ ее, казавшуюся ему такой хрупкой и нѣжной, въ свои могучія объятія и цѣловалъ, цѣловалъ ее безъ конца, жаркими, ненасытными поцѣлуями . . .

— »Ахъ, какъ хорошо, какъ хорошо! . . . Еще еще . . .« — просила она, задыхаясь отъ счастья, подставляя ему свою шею, затылокъ, закрытые глаза съ трепещущими рѣсницами, вся отдавшись сладкой истомѣ.

— »Только ты, только ты одинъ умѣешь такъ цѣловать.« — . . .

— »А тебя, развѣ цѣловалъ еще кто-то?« — ревниво спросилъ Осоргинъ, обожженный ея сравненіемъ.

Легкій, дразнящій смѣхъ раздался вмѣсто отвѣта. Лѣниво поднявшись, закинувъ руки за затылокъ, она, потягиваясь, точно желая расправить свое тѣло, подчеркнуть красивую гармонію его безукоризненныхъ линій, медленно шла къ камину и опустившись на одно колѣно, щипцами переворачивала ярко пылавшіе брикеты, обливавшіе краснымъ пламенемъ ея склоненный профиль.

Нервнымъ движеніемъ разбила она, медленно загоравшійся брикетъ и яркій дождь искръ разсыпался по ковру.

— »Эти искры точно любовь, угасая оставляютъ по себѣ выжженный слѣдъ,« — сказала Маріанна задумчиво, стряхивая пепелъ съ легкой ткани платья, и загадочной грустью поддернулись ея глаза, углубленные въ даль ей одной принадлежавшихъ воспоминаній.

— »Ты любила кого нибудь, Маріанна?« — повторилъ свой вопросъ Осоргинъ.

»По какому праву вы меня объ этомъ спрашиваете?« — надменно, переходя на — вы — и мѣняя тонъ, обернулась къ нему Маріанна.

— »Зачѣмъ хотите вы знать то прошлое, которое принадлежитъ мнѣ одной . . . . Вѣдь я не спрашиваю васъ, любили - ли вы въ продолженіи раздѣлявшихъ насъ двухъ лѣтъ разлуки. Вы меня не забыли, это самое для меня существенное, вернулась я — вернулась и власть нашей любви . . .

Вѣдь если мы не разлюбили другъ друга, развѣ это не служитъ доказательствомъ, что въ поискахъ ласки, забвенья, мы продолжали искать другъ друга: любили другъ друга въ объятіяхъ матеріи, служившей лишь проводникомъ нашему чувству. Вѣдь когда любишь всецѣло . . . любишь найденную и вновь потерянную половину своего — я —, не должно быть ревности, не можетъ быть обиды« . . . —

— »Ну, вспомни,« — потянулась она къ нему ласково. — »Вспомни всѣ твои приключенія,

увлеченія, связи . . . Ну, скажи, не права ли я, утверждая, что, обнимая, цѣлуя, лаская другихъ женщинъ, ты инстинктивно, можетъ быть даже самъ себѣ не отдавая отчета, любилъ меня, меня одну, тебѣ еще не принадлежавшую, тобою не разгаданную и потому особенно остро желанную? . .« —

. . . И передъ мысленнымъ взоромъ Осоргина быстро плыли, смѣняя другъ друга, женскія тѣни и подъ вліяніемъ словъ Маріанны всѣ разновидности ихъ формъ и очертаній носили ея печать, печать этой загадочной женщины, дразнящей его непонятными изгибами своей женской, сложной души.

Все прошлое стушевалось, стерлось, ушло . . . была она одна, заслонившая собою весь міръ, и Осоргину казалось, что онъ только теперь проснулся отъ тяжелаго сна, что теперь-только началась жизнь, только съ ней одной постигъ онъ тайну блаженства . . .

— »Любишь, . . . любишь?« — шептала Маріанна, лукаво заглядывая въ глубину его глазъ. — »Не все ли равно, сколько времени будетъ длиться это опьянѣніе, . . мигъ, . . года, . . вѣчность« . . . — Вѣдь счастья постояннаго нѣтъ на нашей горестной планетѣ . . . Такъ люби-же меня, цѣлуй, ласкай! . . . Я съумѣю уйти во время, не пробудивъ въ тебѣ пресыщенья . . . »Je ne serai jamais une femme cramponnante«, лучше смерть мгновенная, нежели медленное, постепенное угасаніе! . . .

— »Уйти? — Ты никуда не уйдешь на этотъ разъ, Маріанна! о, я не выпущу тебя изъ моихъ цѣпкихъ объятій, я задушу тебя легче, нежели

уступлю другому . . . Ты не скроешься отъ моей любви какъ тогда, въ мракѣ неизвѣстности: на днѣ морскомъ я разыщу тебя и прикую тысячами цѣпей . . .« —

— »Не говори такъ, не забѣгай впередъ, твои слова диктуются обычной мужской психологіей — давать клятвы въ вѣчности своихъ чувствъ: повѣрь — все линяетъ, все меркнетъ, . . все проходитъ, . . это непреложный законъ природы. Зачѣмъ задаватся мыслью о будущемъ, когда у насъ есть такое яркое настоящее?« . . . —

. . . — »Знаешь-ли, какъ я представляю себѣ душу человѣческую,« — продолжаетъ Маріанна, вытягиваясь на большой, ярко золотистой шкурѣ бенгальскаго тигра и нѣжась у камина.

— Душа — это садъ. У однихъ — онъ пышенъ и цвѣтенія въ немъ утончены культурой, у другихъ — это палисадникъ съ простыми, нехитрыми цвѣточками, у третьихъ — онъ просто поросъ бурьяномъ и лопухомъ . . .

Такъ и чувства я себѣ представляю цвѣтами.

. . . Ландыши — это ясныя, юныя грезы . . . Колокольчики — любопытство. Иванъ-да-Марья — пошлость; незабудки — наивность; георгины — упрямство.

Чувство милосердія мнѣ напоминаютъ — Анютины-Глазки; чувство гордости и самовосхищенія — лиліи.

Объ исканіяхъ Бога говорятъ чистыя головки Нарцисса . . . . Мудрость — орхидеи. Лопухъ — глупость; крапива — корыстолюбіе; репейникъ — преступленіе . . . и такъ безъ конца.

Любовь, конечно олицетворяется розой, ея безконечными разновидностями. Есть розы крупныя и мелкія; однѣ ярко цвѣтутъ на грани увяданія, другія опадаютъ едва успѣвъ разцвѣсти. . . . Нѣкоторыя остаются нераспустившимися бутонами . . .

Ахъ, сколько индивидуальностей можно найти среди розъ; всѣ онѣ такія похожія и всѣ разныя и ароматъ у всѣхъ, всегда, различный . . .

Но есть еще одинъ мистическій цвѣтокъ — Жаръ-Цвѣтъ, — разцвѣтаетъ онъ рѣдко, ослѣпительный и огневой. Это — любовь раздѣленная, въ который все невидимо спаянно и слитно, когда ничего нельзя ни прибавить, ни отнять — все въ полномъ согласіи.« —

— »У тебя больная фантазія, Маріанна, ты въ вѣчной погонѣ за призраками, пропускаешь радости жизни. Мудреная у тебя душа, сложная очень . . . Меня это удручаетъ, мнѣ твоя психологія часто непонятна и ты мнѣ далека, когда начинаешь самоуглубляться. Я люблю тебя реальную, люблю твои глаза, твои руки, запахъ твоихъ волосъ; всю тебя люблю, а душа твоя мнѣ служитъ лишь дополненіемъ твоей красоты . . .

Ты сильна гармоніей, Маріанна, у тебя глаза ясные — значитъ душа чистая, а всѣ твои душевные изломы — это признакъ неудовлетворенности . . Успокоиться тебѣ надо, любимая . . . —

— »Вы хотите сказать, ну договаривайте-же скорѣе вашу мысль . . .« — капризно морщитъ Маріанна брови.

— »Выйти замужъ« — тихо, робко какъ-то, произноситъ Осоргинъ свою затаенную мысль.

— »Выйти замужъ! . . . я этого ожидала . . . Оффиціальное предложеніе руки и сердца!« . . . —

Она смѣется, . . но Осоргину слышатся въ ея смѣхѣ новыя, незнакомыя нотки похожія на рыданіе.

— »Милый!« — говоритъ она, обвивая его голову своими гибкими, нѣжными руками — »Если ты любишь меня и не пресытился моей любовью, гони эти мѣщанскія мысли, не произноси никогда этихъ словъ, . . они пахнутъ могилой, трупомъ, . . а я, такъ хочу быть счастливой, еще, еще счастливой . . .

— »Пойми, я такъ безгранично люблю тебя . . . Я не дѣвушка, которая ищетъ вѣнца; вѣдь я была замужемъ и испытала всѣ прелести похоронъ моихъ первыхъ дѣвичьихъ грезъ. Старая форма брака изжита, а новыхъ законовъ закрѣпощенія любви человѣчество еще не нашло и не скоро найдетъ, опутанное тяжелымъ гнетомъ вѣковыхъ предубѣжденій . . .« —

— »Я знаю, ты была несчастлива въ замужествѣ, Маріанна«, — нѣжно прижимая ее къ себѣ и цѣлуя ея разгоряченное лицо, перебиваетъ Осоргинъ.

— »Молчи, . . молчи, . . ни слова больше, я люблю, безумно люблю тебя, я вся твоя — пока ты любишь меня«, — задыхаясь, шепчетъ она и ея поцѣлуй, напоминающій укусъ раненнаго звѣря,

сладкимъ дурманомъ отравляетъ мозгъ и чувства Осоргина . . .

Она уѣхала, Маріанна, скрылась внезапно и безслѣдно, какъ два года тому назадъ. Оставленное ею письмо, надушенное ея духами, составленными изъ смѣси самыхъ неожиданныхъ сочетаній, было кратко:

— »Я исчезла, мой любимый. Я поняла, что наша любовь начала терять свой ароматъ и была у грани превратиться въ привычку. О, я знаю, ты найдешь тысячу причинъ, чтобы разбить всѣ мои доводы, но . . . напрасно.

Три дня тому назадъ, ты нѣсколько разъ зѣвнулъ въ моемъ присутствіи; вчера не отвѣчалъ на мои ласки и все о чемъ-то задумывался . . .

На мой вопросъ — »любишь?« — ты не отвѣтилъ сразу, а потомъ сказалъ, что напрасно я придаю значеніе словамъ, что ты, конечно меня любишь, не можешь меня не любить, но . . . это — но —, я прочла его въ твоемъ утомленномъ взглядѣ и сказала себѣ — »Маріанна, бѣги . . .« —

Я не ушла еще совсѣмъ изъ твоей жизни, — я слишкомъ сама люблю. Жаръ-Цвѣтъ пылаетъ въ моемъ саду, но его надо беречь отъ жаркаго, палящаго полуденнаго солнца; удалить отъ зноя въ длительную прохладу разлуки . . .

Я вернусь. Съ наступленіемъ весны я найду тебя на Ривьерѣ, тамъ, гдѣ небо, ночью изсиня

черное, при лунѣ блѣднѣетъ, отражаясь въ пѣнящихся волнахъ моря . . . Я найду тебя и прижмусь къ твоей груди среди благоухающихъ мимозъ въ саду твоей виллы, когда будутъ цвѣсти ползучія розы вокругъ бѣлыхъ, мраморныхъ колоннъ ея террассы . . .

. . . О, я знаю, ты будешь еще жарче, еще сильнѣе любить меня, послѣ короткаго промежутка разлуки . . . Ты не забудешь своей Маріанны, для которой ты — все: свѣтъ, воздухъ, тепло . . .«

Осоргину казалось, что жизнь уходитъ. Мысли путались въ тоскѣ безумія... Онъ зналъ: искать Маріанну, искать ея слѣдъ — безцѣльно. О, она была ловка, эта маленькая женщина съ причудливой душой и вмѣстѣ съ тѣмъ, безпредѣльно настойчива.

Временами Осоргину казалось, что онъ не справится съ душившей его тоской. Онъ не искалъ забытья, какъ раньше, въ обществѣ женщинъ. Въ безсильномъ бѣшенствѣ проклиналъ онъ свою распущенность, толкнувшую Маріанну искать спасенія въ бѣгствѣ.

Она ушла, не оставивъ ему даже своей фотографіи. Однажды онъ, случайно, нашелъ среди подушекъ дивана забытый ею платочекъ и, прижавшись горячечными сухими губами къ скомканному кусочку батиста, онъ горько заплакалъ, какъ маленькій обиженный ребенокъ.

Осоргинъ, постепенно, впадалъ въ острую неврастенію . . .

Ему не вѣрилось, что Маріанна исчезла надолго. Нѣсколько мѣсяцевъ разлуки казались ему

непереносимыми. Онъ ждалъ, что она не выдержитъ, сжалится, вернется . . . По вечерамъ, когда сгущались сумерки, онъ бродилъ по улицамъ шумнаго города, стараясь уловить въ туманной мглѣ ея знакомый силуэтъ.

Слыша за собой женскіе, легкіе шаги, онъ нервно оборачивался, желая застигнуть ее врасплохъ, отгадать ея появленіе.

Маріанна . . . Всѣ мысли его, отравленныя ею, были съ нею, вокругъ нея. Онъ припоминалъ ея слова, ея улыбку, воскрешалъ въ памяти, до почти физической ясности, ея поцѣлуи, ея объятія.

— »Маріанна!« — звалъ онъ ее громко, въ безсонныя, безумныя ночи своего одиночества . . .

Она не отзывалась.

Осоргинъ не выдержалъ и уѣхалъ на Ривьеру. Онъ надѣялся, что здѣсь, на берегу Средиземнаго моря, сама природа, ея ликующій, жизнерадостный видъ, утишатъ его мученія, сократятъ томительный срокъ ожиданія . . .

Онъ занялся украшеніемъ своей виллы, стараясь воплотить вкусы Маріанны, ея фантазію, но болѣзнь любви не покидала его и онъ чувствовалъ, какъ силы жизни, постепенно, угасаютъ въ немъ, какъ онъ слабѣетъ физически и морально, вдали отъ любимой женщины.

Осоргинъ слегъ. Его недомоганіе было непонятно докторамъ, лечившимъ его отъ испанской

шютты. Онъ лежалъ одинокій у себя на виллѣ. Дневной свѣтъ раздражалъ его и темныя жалюзи скрывали отъ него видъ моря и цвѣтущей природы.

Онъ лежалъ среди тяжелыхъ складокъ штофа, въ глубинѣ алькова, похожій на мертвеца, сжигаемый жаромъ своей любви. Онъ ждалъ, . . . а время такъ медленно ползло и ему казалось, что онъ не дождется желаннаго мига свиданія!

Однажды въ комнату внесли благоухающія фіалки. Ихъ появленіе было внезапно и ошеломляюще. Среди цвѣтовъ лежала карточка, на которой, четко, темнѣли слова: — »Autant de fleurs — autant de baisers.« — Это былъ привѣтъ Маріанны . . .

Волненіе, охватившее Осоргина, истощило его послѣднія силы. Онъ велѣлъ поднять жалюзи, раскрыть окна. Ему не хватало воздуха . . . Онъ поспѣшно началъ одѣваться, но первый же притокъ воздуха опъянилъ его своей свѣжестью и лишилъ его чувствъ.

Распростертый на коврѣ, безъ признаковъ жизни, лежалъ Осоргинъ въ тотъ мигъ, когда раздался легкій стукъ въ дверь и вошла Маріанна, лучезарная въ полуденномъ освѣщеніи весенняго дня.

. . . Крикъ ужаса сорвался съ ея трепещуихъ губъ. Опустившись на колѣни и приподнявъ его голову, она горячими поцѣлуями старалась вдохнуть въ него жизненную энергію, пробудить краски на его блѣдномъ, безкровномъ лицѣ.

Осоргинъ медленно приходилъ въ себя. Слабость лишила его рѣчи; онъ лишь блаженно улыбался, не сводя глазъ съ Маріанны.

— »Ты не покинешь меня больше, любимая! ты видишь, что безъ тебя я не въ силахъ жить. Ты — элексиръ жизни; ты похитила мою душу и съ твоимъ исчезновенiемъ я превратился въ трупъ.« —

Это были первыя слова Осоргина, которыя Марiанна вѣрнѣе угадала, нежели услышала. Ея сердце разрывалось отъ тоски и страха. Теряя разсудокъ, она клятвенно обѣщала ему исполнить его настойчивое желанiе, никогда не покидать его больше; слить свою жизнь съ его жизнью въ одно, прочно спаянное, цѣлое . . .

Въ яркое, солнечное утро конца апрѣля, они вѣнчались въ православной церкви въ Ментонѣ.

Небольшая церковь съ бѣлымъ мраморнымъ изваянiемъ Спасителя, рельефно выдѣлявшимся на синемъ фонѣ окна въ алтарѣ, утопала въ живыхъ растенiяхъ . . . На полу, сплошнымъ душистымъ ковромъ, лежали фiалки, розы и анемоны.

Послѣ обряда, на приглашенiе священника обмѣняться поцѣлуемъ, Осоргинъ весело схватилъ Марiанну въ объятiя и звонко поцѣловалъ ее въ губы.

Этотъ непосредственный, молодой порывъ озарилъ мягкой улыбкой старческое лицо священника . . . Засмѣялись пѣвчiе на клиросѣ . . . Смѣялось яркое весеннее солнце . . . Смѣялись пѣнящiяся волны, въ веселомъ разбѣгѣ догоняя другъ друга . . . Смѣялись пушистые цвѣты мимозъ въ оградѣ церковнаго сада . . .

Яркое, солнечное счастье переживали Осоргины. Это былъ безконечный гимнъ торжества любви; гамма однороднаго горѣнія всѣхъ чувствъ.

Маріанна свѣтилась. Чары любви раскрыли лепестки ея женственности, притягивали и очаровывали, сгущая вокругъ нея атмосферу всеобщей влюбленности. Ея успѣхъ рождалъ чувство горделивой радости въ Осоргинѣ, не вызывая его ревности.

— »Какъ на тебя всѣ всегда смотрятъ, Маріанна, каждый отбить мечтаетъ, а ты моя, только моя и я никому, никогда, не уступлю своихъ правъ на мою обожаемую жену.« —

Слово — жена — Осоргинъ произносилъ особенно мягкимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ властнымъ оттѣнкомъ голоса, какъ будто-бы въ самомъ значеніи этого слова находился ключъ къ его счастью. Онъ совершенно выздоровѣлъ. Это былъ прежній Осоргинъ, спокойный и уравновѣшенный, какимъ онъ былъ до встрѣчи съ Маріанной . . .

Пропутешествовавъ нѣсколько мѣсяцевъ, объѣздивъ почти всю Европу, Осоргины, поздней осенью, возвратились въ Петербургъ. Они поселились на разныхъ квартирахъ. Это было условіемъ, поставленнымъ Маріанной въ основу ихъ брака.

— »Ты не долженъ слишкомъ привыкать ко мнѣ, чтобы твоя любовь не превратилась въ привычку. Можетъ случится, что, утомленный, ты будешь въ настроеніи провести нѣсколько часовъ въ полномъ одиночествѣ, когда мысль свободно отдыхаетъ безъ напряженія. Ты не долженъ также, душить въ себѣ потребности проводить изрѣдка

время въ кругу твоихъ холостыхъ друзей. У тебя, наконецъ, будутъ дѣла, всецѣло поглощающія тебя на нѣкоторое время. Твои мужскія привычки также могутъ идти въ разрѣзъ моимъ желаніямъ« . . .

— »Когда же тебя повлечетъ отдохнуть въ моемъ обществѣ, потянетъ ко мнѣ, я буду знать, что ты пришелъ, повинуясь лишь свободному влеченію, что все время, которое ты проводишь со мною, принадлежитъ мнѣ нераздѣльно.« —

— »Супружеская жизнь не должна терять романтизма. Наша любовь должна остаться нашимъ праздникомъ. Я не хочу, чтобы ты видѣлъ меня не въ порядкѣ, когда невольно у тебя будетъ напрашиваться критика моей наружности.

Для женщины также необходимо оставаться наединѣ съ самой собой, давать отдыхъ лицу и тѣлу, не стѣсняясь присутствіемъ мужчины.« —

— »Мы должны стараться не допустить паутины прозы, которая вытравливаетъ силу индивидуальности, срывая вуаль стыдливости и обнажая некрасивыя, неприглядныя стороны будничной жизни.« —

— »Я не хочу глушить Жаръ-Цвѣтъ въ моей душѣ, репейникомъ мѣщанскихъ идеаловъ.« —

Такъ говорила Маріанна, съ прорывающимся отчаяніемъ рѣшаясь на бракъ, рисовавшійся ей могилой любви и вырывая у побѣжденнаго ея доводами, Осоргина, вымученное согласіе покориться ея желанію.

Она крѣпко стояла на своемъ рѣшеніи и съ этой мертвой точки ее не могли сдвинуть ни

просьбы мужа, ни его огорченіе и смущеніе, когда онъ очутился лицомъ къ лицу съ вопросомъ о раздѣльной жизни.

Осоргинъ остался жить на своей прежней холостой квартирѣ, въ дѣловомъ центрѣ города, а Маріанна купила себѣ дачу съ большимъ садомъ въ концѣ Каменнаго острова и съ увлеченіемъ занялась устройствомъ своего жилища.

Въ противоположность мужу, любившему старинную мебель и собиравшему антикварныя коллекціи миніатюръ и фарфора, Маріанна покупала лишь вещи, отвѣчавшія всѣмъ условіямъ современнаго комфорта. Она заказывала удобныя, располагающія къ лѣнивому покою кресла, огромные диваны съ пуховыми подушками и увлекалась красивымъ подборомъ тоновъ и оригинальнымъ сочетаніемъ красокъ.

— »Обстановка должна носить характеръ и отпечатокъ моей индивидуальности, я не хочу вещей, на которыхъ лежитъ печать чужихъ воспоминаній,« — шутила Маріанна.

Картины она, непосредственно, заказывала художинкамъ, придумывая сюжетъ н вдохновляя ихъ фантазію. Она любила мистическія, отвлеченныя исканія, новыя формы, неожиданные эффекты освѣщенія . . .

Маріанна ежедневно видѣлась съ мужемъ. Утромъ ее будилъ его телефонъ и сквозь сонъ, зажавъ слуховую трубку между ухомъ и подушкой, она слушала его утреннее привѣтствіе и шептала ему отвѣтныя ласковыя слова.

Въ часъ дня Осоргинъ съ нетерпѣніемъ поджидалъ жену къ завтраку. Онъ собственноручно украшалъ столъ цвѣтами, заказывалъ ея любимыя кушанья, изощряясь въ желаніи удивить ее или вызвать ея улыбку появленіемъ какой нибудь рѣдкостной примеры или имъ самимъ придуманной закуски.

Она приходила къ нему, неизмѣнно весело и бодро настроенная, и они цѣловали другъ друга съ горячностью первыхъ свиданій.

Маріанна умѣла казаться всегда новой своему мужу и этимъ держала его въ постоянномъ плѣну. У нея была какая-то своя особенная способность угадывать все, касающееся его личной жизни, не спрашивая его, что онъ дѣлалъ въ ея отсутствіи, откуда онъ пришелъ или куда онъ идетъ.

Это особенно цѣнилъ Осоргинъ, чувствовавшій себя всегда свободнымъ отъ отчетности, такой утомительной для мужского свободолюбиваго характера.

Весело болтая за завтракомъ, они сговаривались на счетъ вечерняго времяпрепровожденія. Обѣдалъ Осоргинъ чаще всего у жены, иногда они ѣздили въ ресторанъ или въ театръ, вечера-же проводили вдвоемъ, преимущественно на дачѣ Маріанны, гдѣ у Осоргина было свое удобное большое кресло въ его любимомъ уголкѣ у камина.

Это были ихъ самыя счастливыя минуты: скрадывающій полумракъ затѣненной абажуромъ лампы, полная тишина . . . оторванность отъ всего міра . . .

Осоргинъ просиживалъ часами слушая ласкающій его слухъ, звукъ голоса Маріанны. Она разсказывала ему о своихъ путешествіяхъ, переживаніяхъ или просто вслухъ фантазировала.

Иногда они часами молчали, отдыхая въ обществѣ другъ друга; изрѣдка на нихъ набѣгали минуты искрометнаго веселья и тогда они рѣзвились и дурачились, какъ дѣти.

Если Осоргину, случалось, заболѣть или просто нездоровилось, онъ проводилъ нѣсколько дней у Маріанны и она съ нѣжной заботливостью ухаживала за нимъ.

Однажды онъ сказалъ ей: — »Я счастливъ, когда я боленъ, Маріанна; я счастливъ самымъ примитивнымъ мѣщанскимъ счастьемъ — быть неразлучно съ тобою и, знаешь, я начинаю торопить старость, когда взаимное увяданье, поневолѣ, повлечетъ за собою нашу нераздѣльную совмѣстную жизнь.« —

— »О, не призывай зиму,« — съ грустной улыбкой отвѣтила она. — »Вѣдь тогда поблекнетъ и облетитъ — Жаръ-Цвѣтъ.« —

— »Ты думаешь, что мы меньше будемъ любить другъ друга, Маріанна?« —

— »Нѣтъ, этого я не думаю, но иначе, конечно,« — отвѣтила она, ласково поглаживая его голову.

Новыя основы, на которыхъ строили свою брачную жизнь Осоргины, возбуждали любопытство

и интересъ въ обществѣ и, конечно много самыхъ разнообразныхъ толковъ. Мало кто вѣрилъ въ прочность ихъ счастья, но годы шли, внося измѣненія, но не нарушая гармоніи ихъ взаимныхъ чувствъ и отношеній. При видѣ первыхъ засеребрившихся нитей въ густыхъ, волнистыхъ волосахъ жены, Осоргинъ счастливо улыбнулся и, пристально разглядывая неизмѣнно интересное, но уже блекнущее лицо Маріанны, понялъ, какое большое, красивое счастье дала ему эта оригинальная женщина, настойчво уклонившаяся отъ рутины и рѣшительно пробившая новый путь, сообразно своему вѣрному женскому инстинкту.

Стокгольмъ, Ноябрь 1920 годъ.



2.

Непреодолимый Рокъ.





— . . . Что лучше: ждать — не дождатья, или потерять, — не имѣя? . . . —

— . . . И то и другое хуже . . . — задумчиво доносится голосъ Миры, потонувшей въ глубокой сѣткѣ узорчатаго гамака.

Березинъ различаетъ въ темнотѣ лишь кончикъ ея свѣтлаго плиссированнаго платья, вздымающагося, подобно крыльямъ гигантской бабочки, при каждомъ движенiи гамака.

На темномъ небѣ горятъ крупныя звѣзды . . . Внизу, подъ горой плещется Черное море; . . . кругомъ въ травѣ стрекочутъ кузнечики . . .

— Какъ хорошо! Дмитрiй Петровичъ, . . . вы только вникните — какая радость бытiя насъ окружаетъ! Оставьте ваши глубокiя мысли, . . . въ такую теплую, ласковую ночь хочется созерцать природу; . . . не мыслить, а лишь воспринимать ея красоту — . . .

Мира отстраняетъ со лба крупные завитки короткихъ волосъ и проводитъ по нему рукой, точно желая сгладить, непрiятное впечатлѣнiе отъ словъ Березина. Она понимаетъ, что онъ намекаетъ на свою любовь къ ней, но это сознанiе ей только тягостно . . . и, потомъ, вѣдь она ничего не сдѣлала чтобы внушить этому милому Дмитрiю

Петровичу такую нелѣпую страсть! . . . Правда, ей льститъ его поклоненіе и придаетъ ей цѣну въ собственныхъ глазахъ . . . Онъ такъ много старше и умнѣе . . .

— Я хочу пройти жизнь веселой наблюдательницей, не затрагивая и не расточая сокровищъ души . . . — говоритъ она, послѣ короткаго молчанія, не отрывая глазъ отъ мерцающаго вдали маяка.

— А я говорю вамъ слова, которыя вы не хотите слушать; . . . бужу въ васъ мысли, которыхъ не смѣю пробуждать . . . —

— Я повторяю вамъ, мой милый другъ: меня трудно свести съ избранной мною плоскости. Счастья яркаго у меня въ жизни нѣтъ, но за то и горя я не знаю.

Во мнѣ сильно развито чувство самосохраненія . . . Я боюсь бурныхъ порывовъ и инстинктомъ, предотвращаю осложненія.

У меня роковая рука, Дмитрій Петровичъ, мнѣ однажды въ дѣтствѣ цыганка предсказала, что если я распущу веревочки страстей — моя судьба повернется трагически и много горя я и себѣ, и людямъ принесу . . . Я этого не хочу и сознательно страхую себя при всякой приближающейся опасности, даже иллюзорной . . . —

— Я этому уже давно покорился, Мира Арсеньевна . . . . Вы для меня тотъ рѣдкостный сосудъ, къ которому я, даже мысленно, прикоснуться не смѣю. Когда я около васъ, замолкаетъ голосъ страсти и возвышается моя душа, . . . но вамъ не понять минутъ моей тоски . . .

Я знаю, что роняю себя въ вашихъ глазахъ, когда говорю вамъ о моихъ мечтахъ, чуждыхъ вашимъ желаніямъ, . . . и сознаю мѣру своего безумія . . . —

Мира поворачиваетъ голову въ сторону попыхивающей краснымъ огонькомъ папиросы Березина.

— Дайте закурить, — проситъ она.

— Не надо, Мира Арсеньевна, вамъ это не идетъ и потомъ курить вы не умѣете . . . Запахъ табака не гармонируетъ съ ароматомъ вашей цвѣтущей молодости. Предоставьте эту скверную привычку намъ, старикамъ, которымъ нечѣмъ больше заполнить минуты отдыха — . . .

— Вы находите, что мнѣ не идетъ, когда я курю? . . . А вотъ, подите-же, Берендѣевъ-Сумской увѣряетъ, что папироска въ моихъ зубахъ выглядитъ очень пикантно! . . . —

— Берендѣевъ-Сумской! . . . Ваши мысли къ нему слишкомъ часто возвращаются, Мира Арсеньевна; я не спорю, князь очень искушенъ въ тонкостяхъ свѣтской пикантности, но . . . —

— Но вы меня къ нему немножечко ревнуете, Дмитрій Петровичъ! . . . —

Мира смѣется неестественнымъ, нервнымъ смѣхомъ, быстро выскакиваетъ изъ гамака и протягиваетъ Березину руку.

— Идемте ужинать, я слышу шумъ экипажа, это beaux-parents вернулись изъ Сочи. —

. . . Съ балкона раздается призывный звукъ гонга.

— Ты не спишь еще, Кириллъ, мое счастье! —

Мира наклоняется надъ бѣлымъ пологомъ кроватки.

— Я все жду тебя, мама, — отвѣчаетъ соннымъ голоскомъ шестилѣтній бѣлокурый мальчикъ, крѣпко обхватывая руками шею матери.

— Почему ты такъ долго не шла? . . . Я безъ тебя сегодня помолился съ Mademoiselle . . . Я ей говорилъ, что надо тебя подождать, что ты не любишь, когда я по французски молитву читаю... А ты мнѣ принесла что-нибудь, мама? — шепчетъ онъ ей на ухо.

— Если крѣпко поцѣлуешь, то что-то принесла! . . . —

Свѣжія губки мальчика складываются въ сладкій поцѣлуй. Завитки волосъ Миры щекочутъ его личико и онъ, запустивъ въ нихъ рученки, губами ищетъ ея глаза.

— Ахъ, какой большой персикъ, мама, гдѣ это ты такой большой отыскала? . . . И какъ пахнетъ! . . . Онъ, какъ ты пахнетъ, мама! . . . —

— Ну, Христосъ съ тобой, лапочка, теперь засыпай скоренько. Завтра утромъ мы вмѣстѣ купаться пойдемъ въ море . . .

— Хорошо? — . . .

— Хорошо, мама, я тебя утромъ разбудить прибѣгу . . . — Они еще разъ крѣпко цѣлуются.

Мира спускается внизъ на террассу. За большимъ столомъ вся семья уже въ сборѣ. У ея прибора лежитъ пачка писемъ; она быстро перебираетъ ихъ. Березинъ внимательно слѣдитъ за ней, ему

кажется, что одинъ конвертъ вызвалъ легкое замѣшательство на лицѣ молодой женщины.

Мира отходитъ въ сторону, пробѣгаетъ письма, кромѣ одного, которое она, нераспечатаннымъ, спрятала за широкій кушакъ платья.

— Что пишетъ мужъ, Мира? — спрашиваетъ старикъ Несвижскій, просматривая газеты.

— Урожай очень удачно сняли . . . Черезъ недѣлю начнутъ молотить, папа. Всѣмъ проситъ передать привѣтъ, а тебѣ отдѣльно, что твое порученіе относительно продажи скота въ Дубкахъ, онъ исполнилъ своевременно. —

— А когда-же онъ сюда собирается? —

— Пишетъ, что пріѣхать ему не удастся: задерживаютъ земскіе выборы. Мы свидимся съ нимъ черезъ мѣсяцъ въ Петербургѣ, какъ было условленно . . . —

— Ну, не очень, значитъ, по тебѣ Степанъ соскучился, Мирочка, — поддразниваетъ ее старшій братъ мужа, Алексѣй.

— У него въ головѣ пашня, да умолотъ хлѣбовъ главное мѣсто забиваютъ . . . Не по носу вы ему табакъ belle soeur 'очка. —

— Надо-же кому нибудь хозяйство вести, Алекъ, чтобы другимъ шире жизнь прожигать было! — отвѣчаетъ Мира въ томъ же тонѣ.

Она всегда пикируется съ Алексѣемъ, который не прочь поухаживать за своей хорошенькой невѣсткой, стараясь уронить въ ея глазахъ сибарита — брата, но Мира всегда пропускаетъ его критику мимо ушей; она дружно живетъ съ мужемъ,

не предъявляя къ нему большихъ требованій; ея сердце замкнуто; она твердо рѣшила никогда не открывать его для иной любви, нежели материнской . . .

Березинъ любитъ Миру любовью, на которую рѣдко способенъ мужчина. Онъ самъ не отдаетъ себѣ отчета — какъ зародилось это, сначала нѣжное восхищеніе, прешедшее затѣмъ въ жгучую непреодолимую страсть.

Мира для него — центръ мірозданія. Онъ ничего себѣ представить не можетъ красивѣе, чище ея! . . . Ея прозрачная, утонченная душа кажется ему невмѣстимой въ мірѣ пошлости и суеты, въ которыхъ протекаетъ ея жизнь.

Сколько различныхъ сочетаній надо было провести, чтобы создалась такая цѣльная, непосредственная натура, думалъ онъ, изучая малѣйшія подробности ея характера.

»Богоподобная« ласково-шутливо окрестилъ онъ ее.

— Вы меня напрасно обожествляете, — отвѣчала она. — На небѣ холодно и . . . скучно . . . —

— А въ адъ спуститься; у васъ духу не хватаетъ . . . Христосъ училъ: будьте горячи или холодны, но не будьте теплохладны . . . Теплохладность убиваетъ все живое.

Не холодно и не жарко — это пустоцвѣтъ.

Такъ ужъ вы, Мира Арсеньевна, оставайтесь холодной . . . Не теряйте вашей индивидуальности . . . Морозный воздухъ чистый, въ его атмосферѣ люди очищаются — . . .

Березинъ совершенно перемѣнился послѣ знакомства съ Мирой. Онъ, впервые, увидѣлъ ее на ея свадьбѣ съ Несвижскимъ, приходившимся ему дальнимъ родственникомъ.

Когда она вошла въ церковь, закутанная кружевомъ подвѣнечнаго вуаля, у него закружилась голова отъ смутнаго предчувствія надвинувшейся опасности. Вѣнецъ, который онъ держалъ надъ головой жениха, дрожалъ въ его похолодѣвшей рукѣ.

Какъ не подходили другъ къ другу брачующіеся! . . . Это было общее мнѣніе присутствовавшихъ на свадьбѣ.

Что побудило двадцатилѣтнюю Миру связать свою жизнь съ нелюдимымъ, сумрачнымъ, малосвѣтскимъ Степаномъ — этого никто не могъ понять. Она происходила изъ родовитой княжеской семьи, была богата, самостоятельна и красива оригинальной, изысканной красотой и породистостью. Позже, когда Березинъ ближе узналъ ее, однажды. въ интимной откровенной бесѣдѣ, Мира созналась ему, что при выборѣ мужа ею руководило желаніе застраховать себя, такимъ бракомъ, отъ случайностей жизни. Она говорила о рокѣ, тяготѣющемъ надъ всѣми женщинами ея рода.

— Курбатовы — вырожденцы, — сказала она въ заключеніе; слава Богу, со мною нашъ родъ пресѣкается, а моему сыну я завѣщаю не при-

соединять моей дѣвичьей фамиліи къ имени Несвижскихъ. —

Мира любила Кирилла съ порывистой страстностью и онъ отвѣчалъ ей такимъ же обожаніемъ, но матерью она была плохой: пеленки, дѣтскія игры, руководство первоначальнымъ ученьемъ — были не въ ея натурѣ.

Она давала своему ребенку радости, нѣжность и ласку. Мать и сынъ были похожи другъ на друга безпредѣльно и внѣшне, и духовно.

Маленькій Кириллъ былъ какимъ-то особеннымъ ребенкомъ: въ немъ соединялись сіяющее дѣтство съ глубокой чуткостью взрослаго человѣка. Онъ обожалъ все красивое: цвѣты предпочиталъ игрушкамъ, съ животными возился охотнѣе, нежели раздѣлялъ игры дѣтей своего возраста.

— Такія дѣти не отъ міра, они не живутъ долго — говаривали про него старухи.

Березинъ удѣлялъ много времени ребенку любимой имъ женщины.

— Ты балуешь Кирилла, чтобы этимъ проложить дорогу къ сердцу его матери, — острилъ задира Алексѣй. Его раздражала постоянная близость Березина къ Мирѣ и то исключительное отношеніе, которымъ она его выдѣляла.

— Берегись, Степанъ, мужья всегда узнаютъ послѣдніе, — предостерегалъ онъ брата.

— Не суди по себѣ, Алексѣй, и не вмѣшивайся въ мою семейную жизнь, которая тебя не касается, — рѣзко останавливалъ его Степанъ, предоставлявшій Мирѣ полную свободу выбора своихъ друзей.

Онъ признавалъ ея превосходство, какъ-то терялся въ ея присутствіи и безпрекословно исполнялъ всѣ ея желанія.

Мира была очень внимательна къ мужу; они никогда не спорили, никогда не ссорились, но между ними стѣной стояла какая-то отчуждающая недоговоренность.

— Такъ спокойнѣе, — думала молодая женщина, возвращаясь мыслью къ своей излюбленной плоскости равновѣсія, — а Степанъ, по натурѣ замкнутый и сдержанный, не искалъ большаго, всецѣло поглощенный сложной машиной сельскаго хозяйства, въ которомъ заключался весь интересъ его жизни.

Поздно вечеромъ, раздѣваясь на ночь, Мира вынула письмо изъ за кушака платья, повертѣла конвертъ въ рукахъ, отложила въ сторону и только въ кровати надорвала его и медленно развернула, желая продлить щекочущее нервы ожиданіе.

Письмо это, — она сразу угадала, хотя и не знала почерка, — было отъ Берендѣева-Сумского. Ничего не значущее по содержанію, оно носило между строками то — нѣчто, — что угадывается тончайшими струнами сердца.

Князь сообщалъ ей, что исполнилъ ея желаніе, и, къ своей глубочайшей радости, досталъ ей абонементъ въ балетъ на весь предстоящій сезонъ.

Это была ложа перваго яруса его кузины Натали, которая по случаю предстоящаго, нашумѣвшаго-уже развода съ мужемъ уѣзжала на всю зиму въ Римъ.

— Ахъ, какая милая эта Натали, — закрывъ глаза, думала Мира . . . — Какъ это остроумно, право, съ ея стороны . . . Что остроумно? . . . остановилась мысль въ сонной головѣ и она усмѣхнулась ея нелѣпости . . . Вѣдь тамъ семейная драма, а она предвкушаетъ удовольствіе на этой канвѣ. — Я кажется начинаю немножко съ ума сходить, — мыслитъ она, засыпая . . .

— Мама, вставай скорѣе, идемъ къ морю, а то небо хмурится и Mademoiselle увѣряетъ, что дождь скоро пойдетъ, — говоритъ, дергая кружево чепчика Миры, Кириллъ и громко цѣлуетъ ее въ ухо.

— Вотъ и разбудилъ! — . . . Онъ радостно прыгаетъ къ ней въ кроватъ.

— Сейчасъ, сейчасъ встану, только не тормоши меня, мой мальчикъ . . . Еще минуточку . . . Дай проснутъся — . . .

— Нѣтъ, мама, ты опять заснешь, я знаю твои хитрости! — . . .

Кириллъ щекочетъ цвѣткомъ кончикъ носа матери.

— Угадай, мама, какой цвѣтокъ? Неправда-ли, хорошо пахнетъ? Мнѣ дѣдушка сейчасъ принесъ. . . . Это тубероза, мама. —

— Ничего съ тобой не подѣлаешь, замучилъ меня . . . — Мира притягиваетъ къ губамъ свѣжую

мордочку сына, быстро встаетъ съ постели и подбѣгаетъ къ раскрытой двери балкона.

— У-у-у, какія волны . . . Купаться не придется сегодня, вѣтеръ очень сильный! . . . —

— Ничего, мама, пойдемъ валы считать; я девятый люблю, онъ самый высокій. —

. . . Они бѣгутъ съ горы къ морю; соленый вѣтеръ обдаетъ ихъ лица свѣжестью; прибой уже почти касается ихъ ногъ . . .

Взявшись за руки, они идутъ по крупнымъ камнямъ вдоль берега. Къ нимъ приближается мужской силуэтъ.

— Это Дмитрій Петровичъ, — узнаетъ Кириллъ. — Онъ, вѣроятно, рисовать ходилъ въ горы. —

— У васъ сегодня какое-то особенное выраженіе глазъ, Мира Арсеньевна, — говоритъ Березинъ, подходя вплотную.

— У меня сегодня черти въ душѣ гуляютъ . . . Веревочки ихъ еле-еле держатъ . . . Разбушевались! . . . —

— И причина этому? —

— Такъ, безпричинно! —

— Безъ причины ничего не бываетъ, Мира Арсеньевна . . . —

— Причиной этому — вы, мой милый другъ, — уклоняется Мира отъ пытливаго взгляда Березина.

— . . . Вы меня вѣдь, ежечасно упрекаете въ безстрастіи . . . Вотъ я и распустила цѣпи. Ничего, не страшно, ихъ подобрать не долго!

— Въ Петербургъ ѣхать хочется; здѣсь, на морѣ, погода начала портиться, . . . да и, вообще, пора. Степанъ сюда не пріѣдетъ . . . Я вмѣстѣ съ вами, въ понедѣльникъ уѣду; вамъ удовольствіе, а мнѣ хлопотъ меньше будетъ. Правильное распредѣленіе труда . . . Неправда-ли, Дмитрій Петровичъ? —

— Я очень счастливъ вамъ сопутствовать, Мира Арсеньевна, — съ прояснившимся лицомъ отвѣчаетъ Березинъ.

— А я, мама, здѣсь, съ дѣдушкой и бабушкой останусь? — печально, прижимаясь лицомъ къ рукѣ Миры, спрашиваетъ Кириллъ.

— И ты вмѣстѣ со мной поѣдешь, дѣточка, — рѣшаетъ она весело.

За завтракомъ это извѣстіе производитъ сенсацію. Старики не на шутку огорчены предстоящимъ неожиданнымъ отъѣздомъ внука и невѣстки.

Алексѣй хмурится. Если-бы онъ зналъ, что ему придется цѣлый мѣсяцъ проводить лишь въ обществѣ родителей; онъ не пріѣхалъ-бы сюда, предпочитая путешествіе заграницу.

. . . Все эта Мира . . . И чего ей, право, не сидится. — По мужу соскучилась! — пробуетъ онъ иронизировать. И почему-это она такъ его мысли притягиваетъ? . . . Ничего въ ней нѣтъ, въ сущности, особеннаго и совсѣмъ ея общество не такъ уже занимательно . . . И потомъ, вѣдь не слѣдуетъ забывать, что она жена его брата, слѣдовательно . . .

На этомъ его мысль прерывается возгласомъ Кирилла.

Большая оса кружится вокругъ лица мальчика; онъ въ ужасѣ отмахивается руками. Алексѣй убиваетъ осу ударомъ салфетки и попутно задѣваетъ графинъ съ виномъ, который вдребезги разлетается на полу. — Ахъ, какъ не хорошо, когда что-нибудь разбивается, — суевѣрно замѣчаетъ Мира. — Это всегда не къ добру! —

— Значитъ сама судьба указываетъ, что надо отложить отъѣздъ, — убѣждаетъ обрадованный Алексѣй.

— Ваши примѣты — это концентрація вашего charme 'a, belle soeur' очка! . . .

— Мира сидитъ за туалетомъ предоставивъ свои волосы искусству француза-парикмахера; рядомъ на манекенѣ красуется роскошное вечернее платье . . . .

— Ты не заснулъ еще, моя радость? —

Мира входитъ въ дѣтскую, шурша узкимъ трэномъ.

— Ну что ты, мама, я жду тебя съ такимъ нетерпѣніемъ . . . —

— Кириллъ стоитъ въ своей бѣлоснѣжной постелькѣ. Его глаза взволнованно блестятъ.

— Какая ты красавица, моя мама, точно фея изъ сказки . . . Стой вотъ такъ! . . . Въ волосахъ у тебя звѣзды сіяютъ! —

— Это наслѣдственная діадема, обезьянка; когда ты выростешь большой, а я буду старенькой, твоя жена будетъ ее носить . . . —

— Ты никогда не будешь старенькой, мама . . . А знаешь, я нарочно каминъ попросилъ затопить; я тебя залитую огнемъ люблю . . . Ахъ, мама, какое счастье на тебя смотрѣть . . . Мнѣ кажется, что я все это во снѣ вижу! . . . —

Мира цѣлуетъ и креститъ Кирилла. Онъ долго не отпускаетъ ее.

— Я опоздаю къ первому акту, мой мальчикъ. —

— Ну, поѣзжай, а я о тебѣ буду думать, мама, пока не засну . . . —

. . . Мира входитъ въ ложу. Въ театрѣ полутемно. Занавѣсъ уже поднятъ и представленіе началось. Ее встрѣчаютъ наведенные на ея ложу бинокли.

Березинъ подвигаетъ ей кресло; она садится между нимъ и Алексѣемъ.

Напротивъ, въ ложѣ англійскаго клуба, сидитъ Берендѣевъ - Сумской. Мира угадываетъ его взглядъ . . .

Занавѣсъ опускается подъ громъ апплодисментовъ. Анна Павлова выходитъ на безконечные вызовы. Она интересна въ восточномъ костюмѣ съ увитой жемчугомъ чалмой въ пышныхъ волосахъ.

Первое представленіе балета »Павильонъ Армиды« — Черепнина, возбуждаетъ массу тол-

ковъ въ антрактѣ. Оно взбудоражило умы балетнаго мірка, раздѣлившагося на два противоположныхъ лагеря: за и противъ новыхъ теченій въ балетѣ.

. . . Въ аванложу Миры спѣшатъ знакомые. привлеченные всеобщимъ вниманіемъ зала къ ея неожиданному появленію.

Мира возбужденно весела . . . Каждый новый стукъ въ дверь отдается въ ея сердцѣ, но разочарованіе смѣняется разочарованіемъ . . . Берендѣева-Сумского нѣтъ среди мундировъ и фраковъ безразличныхъ знакомыхъ.

Раздается звонокъ. Занавѣсъ взвивается снова.

Мира занимаетъ свое мѣсто. Она не слѣдитъ болѣе за спектаклемъ. Въ сердцѣ пусто. Настроеніе упало . . .

— Кто это въ ложѣ вашей кузины, графини Вронской? — спрашиваетъ въ слѣдующемъ антрактѣ Берендѣева - Сумского, всему Петербургу знакомый, хроникеръ послѣобѣденной газеты Бинокль.

— Какъ, вы не знаете Миры Арсеньевны Несвижской, рожденной княжны Курбатовой? — удивлятся князь.

Бинокль быстро вноситъ фамилію въ свою записную книжку и, грассируя, продолжаетъ:

— Ложа № 7 — центръ вниманія всего театра. Меня уже по крайней мѣрѣ десять человѣкъ спрашивало, кто — эта дама въ розовыхъ жемчугахъ.

— Несвижскаго и Березина, конечно, всѣ знаютъ, но Madame Несвижскую я вижу впервые,

иначе, навѣрное, отмѣтилъ-бы ея появленіе въ хроникѣ.

— Elle a beaucoup de ligne, — рѣшилъ онъ щегольнуть знаніемъ тонкостей французскаго языка.

— Une ligne suffie, mon chèr, — холодно останавливаетъ его краснорѣчіе Берендѣевъ-Сумской.

— Вы знакомы съ Madame Несвижской; представьте меня, князь, — проситъ кавалергардъ Зубатовъ.

— Я уже влюбленъ. Счастливый право Мита Березинъ, сидитъ весь вечеръ въ ея ложѣ. Она, вѣроятно, недавно замужъ вышла: Степана Несвижскаго я по выборамъ въ Орловской губерніи знавалъ. —

— У кого заказываетъ свои туалеты госпожа Несвижская; ея платье самое элегантное въ театрѣ, — снова подбѣгаетъ съ записной книжкой Бинокль.

— Сейчасъ пойду узнаю и въ слѣдующемъ антрактѣ вамъ доложу, — серьезно отвѣчаетъ Берендѣевъ-Сумской и беретъ кавалергарда подъ руку.

— Идемте, графъ, узнавать — какому парижскому портному Madame Несвижская сегодня дѣлаетъ честь и рекламу. —

— Шикарный малый князь Берендѣевъ, говоритъ вслѣдъ Бинокль, внося его титулъ и фамилію въ свою неизмѣнную книжечку tout Petersbourg 'a.

— Фракъ на немъ сидитъ — точно перчатка . . . Да что ему по его богатырскому росту! . . —

Берендѣевъ и Зубатовъ входятъ въ ложу Миры.

— Мита совсѣмъ влюбленъ, Мира Арсеньевна, и, какъ волкъ, вокругъ васъ зубами пощелкиваетъ — говоритъ Берендѣевъ, занимая покинутое при его появленіи Березинымъ мѣсто за кресломъ Миры.

Дыханіе князя обжигаетъ ея шею у затылка и горячими струйками разбѣгается по всему тѣлу молодой женщины, когда онъ наклоняется черезъ ея плечо къ коробкѣ съ конфектами.

— Вы сегодня покорили сердца всѣхъ мужчинъ, Мира Арсеньевна. Сколько комплиментовъ, похвалъ и восхищенія я за вашъ счетъ выслушалъ! А ваши жемчуга многимъ дамамъ сегодня сонъ отгонять будутъ. Я самъ не радъ, что вамъ ложу досталъ, мнѣ, теперь я чувствую, много хлопотъ предстоитъ . . . Вѣдь всѣхъ удовлетворить и вамъ представить . . . и у васъ на это соизволенія испросить — антрактовъ всего сезона не хватитъ . . . —

Мира, обмахиваясь вѣеромъ, прислушивается къ словамъ Берендѣева . . . Какой у него пріятный тэмбръ голоса . . . Какъ хорошо, что нѣтъ Березина. Его инстинктъ давно уже подсказалъ ему — откуда грозитъ опасность!

Мира поворачиваетъ голову и встрѣчаетъ упорный, горящій взглядъ князя. Онъ на-

клоняется къ ея рукѣ и скрывается за дверью. Молодая женщина нѣсколько секундъ остается одна въ ложѣ . . .

Возвращается Алексѣй. Березинъ уѣхалъ къ Кюба выбрать столъ и заказать ужинъ.

— У него закружилась голова отъ духоты, — объясняетъ его отсутствіе Несвижскій, — и, потомъ, онъ завидуетъ твоему успѣху, Мирочка, вѣдь роль Зибеля не изъ сладкихъ, — прибавляетъ онъ ехидно . . .

— Разскажите вы ей . . . цвѣты мои! . . — Пѣть до безконечности эту арію — охрипнуть можно, belle soeur'очка . . . —

— Итакъ, вы серьезно настаиваете, Дмитрій Петровичъ, что вниманіе князя Берендѣева меня компрометируетъ, — говоритъ Мира, вытягивая ножки въ прозрачныхъ чулкахъ къ рѣшеткѣ камина.

— А наши совмѣстныя съ вами поѣздки въ театръ, въ отдѣльные кабинеты ресторановъ, какъ напримѣръ сегодня, служатъ лишь украшеніемъ моей репутаціи. —

— Бросьте этотъ тонъ, Мира Арсеньевна, не обижайте себя этими словами и не оскорбляйте меня неподходящимъ сравненіемъ. Вы отлично знаете, что я уже давно примирился съ ролью безнадежнаго поклонника и почитателя вашихъ

божескихъ и человѣческихъ достоинствъ, а то, что я повсюду васъ сопровождаю, вполнѣ извиняется моимъ родствомъ и дружбой съ вашимъ мужемъ.

. . . У Берендѣева слишкомъ дурная репутація въ отношеніи женщинъ; безцѣльно онъ никогда не терялъ своего золотого времени и легкость, съ которой онъ относится къ женской чести, извѣстна всѣмъ и каждому.

Я не спорю, онъ обладаетъ большими данными и женщины весьма высокого мнѣнія о его неотразимости. Князь умѣетъ нашептывать, . . . умѣетъ безудержно идти впередъ и во время выждать. Это старо, какъ свѣтъ. Еще Наполеонъ пустилъ крылатое словечко — »pour vaincre une femme — il faut la fuire«. — Система можетъ-быть и очень удачная, но такихъ женщинъ, какъ вы, Мира Арсеньевна, ею не завоевываютъ. Я это повторяю еще разъ и готовъ ежеминутно васъ предостерегать противъ Берендѣева-Сумского, конечно, если еще не поздно и вы крѣпко держитесь на вашей пресловутой плоскости. —

— Я устала отъ вашего краснорѣчія, мой милый другъ; правда, вы всему сами виной: вы такъ часто вспоминаете князя, что невольно притягиваете къ нему мои мысли . . . А потомъ, вы порою такъ къ нему пристрастны и несправедливы, что заставляете меня, въ противовѣсъ вашимъ обвиненіямъ, находить тѣ хорошія и притягательныя стороны, на которыя я, быть-можетъ, безъ вашей помощи не обратила-бы вниманія. — Берендѣевъ остроуменъ и занимателенъ, но для меня онъ безопасенъ. Я это вамъ говорю

убѣжденно, мой вѣрный другъ, и потому успокойте вашу ревность и утишите ваши подозрѣнія . . . Даю вамъ обѣщаніе, что ни вы, но и никто другой, не заставитъ меня погрузиться въ омутъ кипящихъ страстей и больныхъ исканій. Мой успѣхъ служитъ мнѣ лишь забавой и развлеченіемъ; во мнѣ сильны женскія слабости, . . а поклоненіе мужчинъ довольно сладкая отрава . . . —

— Я вижу, вашъ успѣхъ, не на шутку вскружилъ вашу хорошенькую головку, Мира Арсеньевна, вы начинаете портиться. —

— Ближе къ землѣ спустилась, хотите вы сказать, Дмитрій Петровичъ . . . . — Можетъ быть, вы и правы, только . . . . если это приноситъ мнѣ ущербъ въ вашемъ мнѣніи, я не замедлю опять подняться въ облака, хотя-бы они скрыли меня даже отъ вашего ласкающаго и обожествляющаго меня взора. — Вы первый изъ первыхъ, . . вы мой лучшій, . . вы мой умнѣйшій и благороднѣйшій! . . . —

Съ веселымъ пафосомъ говоритъ Мира, крѣпко сжимая его руку между своими ладонями.

— Я сторожъ вашей чести, . . — счастливый мученикъ своей любви, — отвѣчаетъ Березинъ, обрывая лепестки розъ и осыпая ими колѣни молодой женщины.

— Позовите Гулеско, — проситъ она. — Мнѣ сегодня хочется его музыки . . . Пусть онъ сыграетъ »Арлекинаду« Дриго . . . —

Мира закрываетъ глаза: передъ ней проносится сцена изъ балета . . . Въ прошлое воскресенье Берендѣевъ, задержавшійся на одинъ актъ въ

ея ложѣ, пользуясь темнотой зала, близко-близко склонился къ ея уху во время серенады и впервые прошепталъ слова, показавшіяся ей звучнѣе переливовъ арфы, доносящейся изъ оркестра . . .

— . . . Мира Арсеньевна, простите великодушно, но я не могу васъ завтра сопровождать въ театръ, . . . я вытянулъ себѣ жилу на ногѣ и докторъ уложилъ меня въ кровать, — слышитъ Мира въ телефонъ голосъ Березина.

—Ахъ, какъ жаль, . . но какія это препятствія вы брали, мой другъ, что у васъ такъ неудачно подвернулась нога? . . . —

— Препятствіе было, правда, и . . . непреодолимое . . . — насмѣшливо-грустно звучитъ его голосъ. — Я встрѣтилъ на улицѣ Берендѣева и, такъ какъ внѣшность этого господина мнѣ менѣе пріятна, нежели вамъ, я хотѣлъ избѣжать удовольствія встрѣчи, заторопился . . . ну, нога и подвернулась.

— И судьба васъ наказала за нелюбовь къ ближнему, — перебиваетъ Мира.

— Зато она сегодня къ вамъ милостива: послѣ обѣда, я пріѣду съ Кирилломъ васъ навѣстить, а вечеромъ позовите Алексѣя и еще кого-нибудь, —мы составимъ вамъ партію въ бриджъ. —

— А, кто-же вамъ завтра будетъ сопутствовать въ балетъ, Мира Арсеньевна? —

— Я попрошу Степана и приглашу beaux parents — для полной семейной идилліи, такъ-что вы можете быть спокойны . . . я буду подъ надежной охраной, — отвѣчаетъ она, насмѣшливо-ласково.

. . . Ахъ, какъ хорошо! — радуется Мира въ глубинѣ сердца: завтра бенефисъ кордебалета — самый блестящій спектакль сезона и Берендѣевъ-Сумской уже давно просилъ позволенія ужинать вмѣстѣ, по окончаніи театра у Кюба. Она уклончиво отвѣтила ему изъ-за Березина, а теперь непремѣнно попроситъ Степана пригласить князя . . .

Она будетъ завтра хорошенькой въ своемъ новомъ серебристомъ платьѣ отъ Callot . . . Берендѣевъ такой тонкій знатокъ дамскихъ туалетовъ и цѣнитель всего изящнаго. Его похвалы изысканны и утонченны . . . Ему, такъ пріятно нравиться! . . .

Въ передней раздается звонокъ. Лакей вноситъ большую корзину цвѣтовъ и подаетъ Мирѣ на серебрянномъ подносѣ визитную карточку. Цвѣты отъ Березина. Она погружаетъ лицо въ ихъ душистую массу.

Мира бросаетъ на себя довольный взглядъ въ широкое, трехстворчатое зеркало.

Серебристая чешуя платья обливаетъ ея тонкую гибкую фигуру. Въ ея рукахъ крупныя

Roses de France, только-что присланныя Берендѣевымъ-Сумскимъ; онѣ завершатъ ея туалетъ, на которомъ сегодня отсутствуютъ драгоцѣнныя украшенія . . . Берендѣевъ не любитъ этихъ побрякушекъ — вкуса дикарей, какъ онъ выражается.

— Мама, — раздается за дверью голосокъ Кирилла, — можно войти? —

— Конечно можно, мой мальчикъ. —

— Я тебя теперь такъ рѣдко вижу дома мама, только, когда ты переодѣваешься . . . Зато, ты теперь всегда такая нарядная и мнѣ такое удовольствіе на тебя смотрѣть! . . .

— Ахъ, какія красивыя розы и какія онѣ свѣжія! . . . Дай понюхать . . . А вотъ, вчерашніе цвѣты Дмитрія Петровича уже завяли. Почему они такъ скоро завяли, мама? . . .

Ахъ, этотъ постоянный вопросъ Кирилла — почему? . . .

Почему такъ все на свѣтѣ устроено? Почему? . . . Вертится назойливая мысль въ нарядно убранной головкѣ Миры.

Почему одни чувства приносятъ радость . . . другія — только горе? . . .

Почему, такъ быстро завяли цвѣты Березина, а эти, широкораскрывшіеся лепестки розъ князя порывисто вздымаются на ея обнаженной груди . . .

Почему — почему? . . это — вѣчная, неразрѣшимая загадка . . .

— Ты сегодня ослѣпительна Мира, — говоритъ Степанъ, накидывая на плечи жены легкое соболье манто.

— Ты такой свѣтской стала за этотъ сезонъ, что я боюсь, какъ-бы деревенская жизнь тебя не испугала своей монотонностью. —

— Не безпокойся Степанъ, я съ нетерпѣнiемъ ожидаю лѣта и предвкушаю удовольствiе отдыха среди полей и луговъ вольнаго простора . . . Но до этого еще далеко. —

— Мнѣ хотѣлось-бы провести Пасху съ тобою и съ сыномъ въ Курбатовѣ, Мира, чтобы подъ твоимъ непосредственнымъ наблюденiемъ докончить отдѣлку новаго дома. Я уѣзжаю въ деревню въ началѣ поста и буду очень скучать безъ васъ обоихъ. —

— Ты развѣ умѣешь скучать по мнѣ Степанъ; я этого не подозрѣвала — . . . отвѣчаетъ Мира тихо.

Карета Несвижскихъ останавливается у ярко освѣщеннаго подъѣзда театра . . .

. . . Особнякъ Берендѣева-Сумского на Англiйской набережной залитъ свѣтомъ. Къ обтянутому шатромъ подъѣзду, тянутся вереницы автомобилей и каретъ.

Швейцаръ въ ливреѣ съ гербами, встрѣчаетъ подъѣзжающiе экипажи на широкой, бархатной дорожкѣ ковра, растянутаго по панели. По сторонамъ толпятся любопытные.

. . . Берендѣевъ-Сумской встрѣчаетъ гостей на площадкѣ мраморной лѣстницы.

На хорахъ въ большомъ двухсвѣтномъ залѣ играетъ оркестръ Леонарди.

Князь съ волненіемъ ждетъ появленія Миры.

. . . Въ честь нея онъ устроилъ этотъ вечеръ, наканунѣ ея предстоящаго отъѣзда въ деревню.

Молодая женщина, уже въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, владѣетъ всѣми его мыслями и, онъ начинаетъ терять свойственное ему хладнокровіе . . . Всѣ его усилія завоевать расположеніе Миры, разбиваются о ея неприступную холодность. Она, какъ будто не замѣчаетъ, или не хочетъ понять его любви.

Неужели-же Мира, такъ сильно привязана къ мужу и удовлетворяется рабскимъ поклоненіемъ Березина, что никакія иныя чувства не въ состояніи пробудить въ ней порывъ, который нарушилъ бы спокойныя воды ея дремлющей молодости?

Берендѣевъ-Сумской упоренъ. Онъ не изъ тѣхъ, кто сворачиваетъ на половинѣ пути. Мира стала его цѣлью, всепоглощающимъ интересомъ его стремленій . . . Онъ не на шутку влюбился на этотъ разъ и рѣшилъ завоевать ее, хотя бы цѣной своей свободы!

. . . А, вотъ и она! . . . Князь различаетъ ея профиль между тяжелыми дубовыми дверями вестибюля.

Мира поднимается по лѣстницѣ въ сопровожденіи мужа и Алексѣя.

Она особенно хороша сегодня! . . . Оранжевый цвѣтъ платья оттѣняетъ матовую бѣлизну ея

кожи . . . На кудрявой головкѣ змѣится нить жемчуга.

Берендѣевъ - Сумской завороженный, никого не видитъ, кромѣ нея. Онъ дѣлаетъ нѣсколько шаговъ къ ней навстрѣчу и, низко склонившись, цѣлуетъ бѣлую перчатку ея руки.

Мира улыбается ему своею обычной улыбкой, но ея рука вздрагиваетъ при его прикосновенiи. Она проходитъ въ гостиную и теряется для сопровождающаго ее взора князя, среди группъ многочисленныхъ гостей . . . Березинъ, мрачный и грустный, прiѣзжаетъ много позже. Онъ, скрѣпя сердце, принялъ приглашенiе князя Берендѣева-Сумского и рѣшилъ сегодня внимательно наблюдать за Мирой и, окончательно разрѣшить мучащiй его вопросъ — относительно степени ея увлеченiя княземъ.

Если Мира для него потеряна — это будетъ его смертнымъ приговоромъ. Онъ слишкомъ долго боленъ ею . . . Эта хроническая любовь надорвала его здоровье . . . Онъ не въ силахъ продолжать такъ больше.

. . . Березину ненавистенъ Сумской, ненавистенъ его домъ, . . ненавистно собравшееся общество. Онъ проходитъ, стараясь быть незамѣченнымъ . . . Его глаза лихорадочно ищутъ среди нарядной толпы Миру.

Она сидитъ въ углу малахитовой гостиной на диванѣ, рядомъ съ женой англiйскаго посла. Еле уловимая улыбка приподнимаетъ углы ея губъ. Грустные глаза устремлены въ невидимую даль.

Она разсѣянно поддерживаетъ неинтересный разговоръ.

. . . Около кого витаютъ ея мысли? съ горечью думаетъ Березинъ, отъ котораго не ускользаетъ ни одна перемѣна выраженія лица любимой женщины. — Я знаю васъ лучше, чѣмъ вы сами себя знаете — потому, что я надъ вами гораздо больше думалъ, нежели вы сами надъ собой, — сказалъ онъ ей однажды. — Вы меня не видите такой, какая я на самомъ дѣлѣ . . . Вы воплотили во мнѣ вашъ идеалъ и сквозь эту призму часто не замѣчаете моихъ безчисленныхъ недостатковъ, — вспоминаетъ онъ ея отвѣтъ.

Ахъ, если-бы вырваться изъ этого плѣна . . . Уйти . . .

Увы, у него не хватаетъ силы воли; онъ прикованъ къ тачкѣ своего рабства нерушимыми цѣпями своей любви! . . .

— Мира Арсеньевна, дайте мнѣ вашу руку; я хочу, нѣсколько минутъ отдохнуть въ вашемъ обществѣ отъ утомительной роли хозяина.

Берендѣевъ проходитъ съ Мирой въ зимній садъ. Изъ круглаго концертнаго зала доносятся звуки пѣсенъ цыганскаго хора, привлекшіе вниманіе гостей.

— Позвольте мнѣ поцѣловать вашу ручку въ награду за мой вечеръ, которымъ я оплакиваю

вашъ отъѣздъ, — говоритъ князь, усаживая Миру на скамью подъ громадными пальмами.

Онъ долгимъ поцѣлуемъ припадаетъ къ ея рукѣ выше кисти . . . Потомъ выше . . . и еще выше . . .

Мира впервые загорается новымъ, никогда не испытаннымъ чувствомъ, въ вихрѣ кружащемъ ея мысли . . .

— Я безумно люблю васъ, — слышитъ она жуткія слова князя.

— Я не могу жить вдали отъ васъ Мира . . . Скажите-же мнѣ, хоть нѣсколько словъ ободренія . . Хотите ли вы моей любви? . . . Вѣдь ваше чувство къ Степану не есть то, что даетъ счастье и радость! . . . Хороша только раздѣленная любовь, безъ разсужденій, безъ торга съ самолюбіемъ, . . . съ совѣстью!

— Вы, я увѣренъ, не испытали еще всепоглощающихъ радостей страсти, когда, какъ карточные домики, разсыпаются вымученныя теоріи . . . Поймите. . . . я безумно влюбленъ въ васъ . . . —

Мира ищетъ словъ протеста и не находитъ ихъ. Она видитъ лишь глаза князя — ихъ мольбу.

Страстные звуки его прерывающагося отъ волненія голоса будятъ смутный откликъ затаеннаго желанія, гдѣ то въ глубинѣ души.

. . . Она забываетъ долгъ жены, привязанность къ сыну, обѣщаніе данное Березину . . . Ей сладко летѣть безудержно въ бездонную пропасть . . . И вдругъ, въ яркомъ квадратѣ распахнувшейся двери, появляется подергивающееся лицо Березина, моментально исчезнувшее . . .

Что это — дѣйствительность . . . или бредъ? проносится въ ея сознаніи . . .

Опираясь на руку князя, Мира возвращается въ залъ. Березина нѣтъ среди гостей, онъ незамѣтно скрылся.

За ужиномъ Мира сидитъ за круглымъ столомъ рядомъ съ хозяиномъ. На хорахъ поютъ цыгане. Вечеръ удался на славу и затянулся до утра.

Князь провожаетъ Несвижскихъ до выходной двери, собственноручно накидываетъ на плечи Миры шубку, удерживая ее на мгновеніе въ объятіяхъ.. Отъ вниманія Степана ускользаетъ ухаживаніе Берендѣева за его женой. Его мысли заняты расчетомъ квадратныхъ саженей паркета, который нужно завтра выслать въ Курбатово для настилки пола въ новомъ домѣ имѣнія . . .

По возвращеніи домой, Мира быстро проходитъ въ свою спальню, замѣняетъ бальное платье легкимъ sot-de-lit и ничкомъ бросается на кушетку, пряча разгоряченное лицо въ кружевныхъ подушкахъ.

Въ ея головѣ царитъ такой хаосъ, что разобраться въ немъ невозможно . . .

Неожиданно раздается стукъ въ дверь. На порогѣ останавливается Степанъ, мертвенно блѣдный. Его голосъ дрожитъ, еле ему повинуясь.

— Не пугайся, Мира . . . Случилось страшное несчастье . . . Я не знаю право, какъ тебѣ сказать! . . . —

Мира бросается къ мужу и судорожно хватаетъ его за плечи.

— Не говори, я знаю, . . я знаю . . . Березинъ . . . да? —

Ея тѣло безжизненно соскальзываетъ въ глубокомъ обморокѣ на коверъ. Степанъ переноситъ жену на кровать при помощи горничной, прибѣжавшей на его тревожный звонокъ.

Въ домѣ поднимается суматоха: вызванный по телефону докторъ постепенно приводитъ Миру въ чувство. Маленькій Кириллъ, пользуется всеобщей растерянностью и въ рубашенкѣ, босикомъ прибѣгаетъ въ комнату матери.

— Мама! . . что случилось съ мамой? — . . . кричитъ онъ, подбѣгая къ ея кровати. —

— Со мною ничего, мой мальчикъ, — говоритъ Мира, втягивая его въ постель и прижимая свое залитое слезами лицо къ теплому тѣлу ребенка. — Но случилось худшее, что могло случиться: умеръ Дмитрій Петровичъ и мы никогда, никогда больше не увидимся съ нимъ, Кириллъ! . . .

Березинъ въ посмертной запискѣ мотивировалъ свою смертъ боязнью наслѣдственной болѣзни рака, жертвой котораго послѣдовательно дѣлались всѣ члены его семьи.

Онъ такъ сильно измѣнился за послѣдній годъ, что мало кто подозрѣвалъ о настоящей причинѣ его самоубійства.

Степанъ былъ далекъ отъ какихъ-бы то ни было подозрѣній; Алексѣй, потрясенный смертью Дмитрія Петровича, не пытался по обыкновенію острить: онъ съ уваженіемъ отнесся къ горю Миры и тепло поддерживалъ ее въ ея отчаяніи.

Мира горькими слезами оплакивала потерю лучшаго друга, обвиняя себя въ его смерти. Она не подходила къ его гробу близко; ей хотѣлось сохранить воспоминаніе о Березинѣ, какъ о живомъ; она страшилась прочесть страданіе или упрекъ на его мертвомъ лицѣ. Ея совѣсть и безъ того не давала ей ни минуты покоя.

По окончаніи обряда похоронъ, Мира вечеромъ вернулась на кладбище и, отыскавъ свѣжую могилу Березина, поклялась искупить его смерть обѣщаніемъ посвятить себя всецѣло сыну и навѣки отказалась отъ своей любви къ князю. Она сознавала, что спорить противъ очевидности было безполезно . . . Она любила . . . любила впервые въ своей жизни и непобѣдимый рокъ запуталъ ее въ хитросплетенной паутинѣ новыхъ, сложныхъ чувствъ.

Въ тотъ-же вечеръ Степанъ увезъ жену и сына съ курьерскимъ поѣздомъ въ имѣніе.

На маленькой станціи, затерявшейся среди безконечныхъ степей, царитъ оживленіе: изъ Курбатова высланы на встрѣчу господамъ подводы для

багажа. У крыльца топчется застоявшійся четверикъ сѣрыхъ, въ яблокахъ, лошадей. Поѣздъ запоздалъ на цѣлый часъ.

Мира выходитъ изъ вагона за руку съ соннымъ Кирилломъ, ожидая на платформѣ, пока сторожа вынесутъ изъ купэ ихъ безчисленный ручной багажъ. Начальникъ станціи, любезно раскланиваясь, даетъ приказаніе задержать отходъ поѣзда на нѣсколько минутъ.

Горячія лошади подхватываютъ ландо . . .

Мира положила отяжелѣвшаго отъ сна сына къ себѣ на колѣни и, закинувъ голову вдыхаетъ влажный, свѣжій воздухъ.

Экипажъ быстро катится по гладкой дорогѣ. Полная луна освѣщаетъ безконечную, ровную гладь зеленѣющихъ полей . . . Серебристый звонъ бубенчиковъ на упряжи далеко разносится по окрестности . . .

До имѣнія почти двадцать верстъ, но Мира не замѣчаетъ дали разстоянія. Ей знакомъ здѣсь повсюду каждый кустикъ, каждый овражекъ; каждая изба двухъ большихъ селъ, черезъ которыя проходитъ дорога. Вся мѣстность обвѣяна воспоминаніями ранняго дѣтства, юности, безмятежно протекавшихъ въ глуши С-каго уѣзда.

Революція 1915 г. оставила свой слѣдъ на старинной усадьбѣ: сгорѣлъ барскій домъ, построенный, нѣкогда, Растрелли; случайно уцѣлѣлъ лишь павильонъ въ глубинѣ парка, на берегу озера, приспособленный временно для жилья. На горѣ, на мѣстѣ пожарища уже высится новый бѣлый домъ въ стилѣ Ампиръ, съ двумя флигелями,

сооруженный со всѣми усовершенствованіями современной техники.

Лошади въѣзжаютъ въ вѣковую липовую аллею, тонутъ въ ея гущинѣ и выносятъ экипажъ на широкую лужайку, мимо старой, чудомъ уцѣлѣвшей во время пожара, церкви, рядомъ съ фамильнымъ склепомъ князей Курбатовыхъ. Залитый луной домъ, только-что освободившійся отъ лѣсовъ, горделиво бѣлѣетъ среди высокихъ серебристыхъ елей.

Кириллъ проснулся и не скрываетъ своего восторга.

— Мама, смотри, какой дворецъ выстроилъ папа и для меня въ верхнемъ этажѣ есть гимнастическій залъ . . . Неправда-ли, папа? — весело щебечетъ онъ, тормоша отца.

Степанъ доволенъ похвалами жены и сына; онъ знаетъ, что Мира не любила старый домъ, гдѣ ей съ дѣтства чудились привидѣнія.

Много трагическаго видали его стѣны и таинственными легендами окутано его прошлое . . .

— Въ новомъ домѣ потечетъ новая жизнь . . . Здѣсь нѣтъ мѣста мятежному року . . . здѣсь должно найти счастье — будущее маленькаго Кирилла, который является единственнымъ наслѣдникомъ пресѣкшагося рода Курбатовыхъ . . .

Такъ думаетъ Мира, засыпая послѣ утомительнаго путешествія и переживаній послѣднихъ дней.

— Мама, сегодня на церковь колоколъ поднимать будутъ, можно мнѣ съ Mademoiselle пойти посмотрѣть? — говоритъ Кириллъ за утреннимъ чаемъ матери.

— Новый колоколъ? — испуганно поворачивается Мира къ мужу. Почему ты ничего не сказалъ мнѣ, Степанъ, о томъ, что старый лопнулъ? —

—Чтобы не давать лишняго повода твоему суевѣрію, Мира. Старый колоколъ треснулъ во время пожара, я отдалъ его перелить и еще прибавилъ нѣсколько пудовъ мѣди, такъ-что звукъ будетъ лучше прежняго. Завтра къ Пасхальной заутрени въ него ударятъ впервые. —

Мира ничего не отвѣчаетъ мужу . . .

На душѣ у нея смутно; она съ дѣтства слышала, что колоколъ на старой церкви каждый разъ давалъ трещину передъ большимъ несчастіемъ въ ихъ семьѣ.

Въ послѣдній разъ это случилось передъ смертью ея тетки, молодой восемнадцатилѣтней дѣвушки, которую нашли задушенной въ паркѣ, чуть-ли не наканунѣ свадьбы съ сосѣдомъ помѣщикомъ, мѣстнымъ предводителемъ дворянства.

Эта таинственная смерть такъ и осталась неразрѣшенной загадкой.

Мира помнитъ, какъ старушка няня повела ее въ церковь въ день поднятія новаго колокола и повѣрила ей, что съ первымъ ударомъ — молитва долетитъ прямо до Престола Божія.

Мира стояла рядомъ съ ней, прислушиваясь къ раздавшемуся звону и въ ея дѣтской памяти

ярко запечатлѣлись земные поклоны, которые безъ устали клала на холодномъ кирпичномъ полу няня, ея всхлипыванія и поминанія »о новопреставленной княжнѣ Мироніи«. Теперь опять гнетъ рока и предчувствіе чего-то страшнаго, надвигающагося громадой лавины, навалилось на сердце молодой женщины.

. . . Ничего, успокаиваетъ она себя . . . Вѣдь уже пронеслось несчастье смерти Березина . . . Завтра во время Свѣтлой заутрени, съ первымъ ударомъ новаго колокола я горячо помолюсь за упокой его души и моя молитва непремѣнно долетитъ до самаго Престола Божія, какъ увѣряла меня въ дѣтствѣ няня . . .

Поздно вечеромъ, уложивъ сына спать, Мира накинула мантилью, закутала голову шарфомъ и паркомъ пошла къ церкви.

Ночь была темная, темная. Грозовыя тучи покрывали небо. Вдалекѣ сверкала молнія.

Молодая женщина сѣла на ступеняхъ склепа. Она была рада царившей темнотѣ, скрывавшей ее отъ собиравшихся къ заутрени крестьянъ.

Настороживишсь, Мира ждала, . . . ждала перваго удара колокола.

Раздался гулкій звонъ, далеко разнесшійся по окрестности . . .

Она крѣпко зажмурила глаза и зашептала молитву.

. . . Что это? . . Ей показалось, — точно холодокъ пробѣжалъ по ея плечу . . . Ей почудилось, что кто-то близко наклонился къ ней.

Мира въ испугѣ открыла глаза. Она ясно увидѣла въ легкомъ излучающемся сіяніи, образъ покойнаго Дмитрія Петровича . . . Онъ смотрѣлъ на нее въ упоръ преображеннымъ, неземнымъ взглядомъ, проникавшимъ въ самую глубину ея души!

Мира вздрогнула всѣмъ тѣломъ и закрыла лицо руками.

— Не бойся, Мира, я здѣсь рядомъ съ тобой . . . Я люблю тебя попрежнему . . . такъ-какъ послѣ смерти сохраняется сознаніе . . .

— . . . Но помни, Мира, свою клятву . . . она должна остаться нерушимой . . . Помни, Мира: ни женой, . . ни возлюбленной . . . Ахъ, какъ я страдаю вдали отъ тебя, любимая! . . . —

Что это? . . . Галлюцинація? . . .

Мира вновь открываетъ глаза . . . Вокругъ непроглядная темь, лишь вдалекѣ сверкаютъ молніи . . . И радостно звучитъ колоколъ на старой колокольнѣ.

—Христосъ Воскресе изъ мертвыхъ! . . . доносится хоръ пѣвчихъ, сквозь разпахнувшуюся дверь церкви. Входитъ крестный ходъ . . . . Мелькаютъ огоньки тоненькихъ восковыхъ свѣчей . . . Радостно переливаются колокола . . .

— Христосъ Воскресе, Мира. Гдѣ ты скрывалась во время службы; я еле тебя нашелъ, — говоритъ Степанъ, нѣжно обнимая жену.

— Пойдемъ домой, пока не разразилась гроза.

Они идутъ подъ руку. Вѣтеръ бушуетъ вокругъ; Мира боязливо прижимается къ плечу мужа . . .

На нарядно убранномъ пасхальномъ столѣ лежитъ подарокъ — сюрпризъ маленькаго Кирилла: выжженная имъ самимъ по дереву рамка съ портретомъ Березина.

Мира открываетъ дверь дѣтской . . . При свѣтѣ мерцающаго огонька она различаетъ разметавшагося во снѣ сына. Его руки приподняты, головка закинута . . . Онъ точно летитъ куда-то . . . въ невѣдомую высь! . . .

— Только ты, . . . только ты одинъ . . . — шепчетъ она и креститъ его широкимъ, размашистымъ крестомъ . . .

. . . . Уже сняли сѣнокосъ. Зазолотились безбрежныя поля за лѣсомъ . . . Въ Курбатовѣ готовятся къ торжеству освященія новаго дома. Мира рѣшила водвориться въ немъ въ день рожденія Кирилла и не протестуетъ противъ желанія Степана отпраздновать этотъ день на славу.

Изъ ближайшаго города выписанъ оркестръ полковыхъ трубачей. Фейерверкщики укрѣпляютъ фонарики въ аллеяхъ парка и разставляютъ щиты. Кириллъ принимаетъ дѣятельное участіе въ суетнѣ; онъ сильно загорѣлъ за нѣсколько мѣсяцевъ, проведенныхъ на чистомъ воздухѣ, среди полей и лѣсовъ.

Въ крыльяхъ дома уже живутъ съѣхавшіеся родственники. Сегодня, наканунѣ торжества, ожидается пріѣздъ Алексѣя изъ Петербурга; за нимъ послана на станцію тройка.

Гости разсѣялись по тѣнистымъ аллеямъ парка. Мира осматриваетъ накрытый къ ужину столъ; даетъ распоряженія старику буфетчику. До ея слуха долетаетъ звонъ приближающихся бубенчиковъ.

Она прислушивается . . . Звонъ на мгновеніе стихаетъ и ярко раздается вновь у самаго подъѣзда.

Мира бѣжитъ навстрѣчу . . .

— Здравствуй, belle soeur 'очка — говоритъ Алексѣй цѣлуя ея ручки. — Я тебѣ сюрпризъ привезъ . . . смотри, кто со мной къ вамъ на праздникъ пріѣхалъ. —

Мира щурится навстрѣчу высокой, крупной фигурѣ, поднимающейся по ступенямъ крыльца.

— Вы, князь! . . . — срывается возгласъ съ ея побѣлѣвшихъ губъ.

— . . . Вы меня не звали, Мира Арсеньевна, я у васъ въ немилости. Вы вѣдь ни на одно изъ моихъ писемъ не отвѣтили . . . — глухимъ голосомъ шепчетъ Берендѣевъ-Сумской, прижимая сухія, горячія губы къ рукѣ молодой женщины.

Мира не отвѣчаетъ . . . Въ ея головѣ звономъ стоятъ — радость, ужасъ, удивленіе . . .

. . . Онъ здѣсь, здѣсь, такъ вдругъ, . . . неожиданно . . .

Она такъ упорно рѣшила вычеркнуть его изъ памяти, . . . забыть. Его письма, облитыя ея слезами, разрывались непрочитанными . . . Мира боялась яда ихъ прикосновенія . . . Они каждый разъ будили въ ней воспоминанія того, послѣдняго вечера передъ смертью Березина, а теперь онъ здѣсь, пріѣхалъ безъ зова! . . .

Она не хочетъ думать, . . . не хочетъ анализировать — все залила лишь безграничная, счастливая радость!

Степанъ провожаетъ новоприбывшихъ въ приготовленныя для нихъ комнаты въ правомъ крылѣ дома.

— У тебя здѣсь точно въ первоклассномъ европейскомъ отелѣ устроено, хвалю . . . — говоритъ, неизмѣнно веселый, Алексѣй.

— Если въ деревнѣ всѣ помѣщики обзаведутся такимъ комфортомъ, то, пожалуй, и заграницу перестанутъ ѣздить. Революція и auto-da-fé старинныхъ усадебъ способствовали прогрессу края — остритъ онъ, освѣжая лицо и руки послѣ пыльной дороги.

— Прикажи-ка братецъ, заморозить пару бутылочекъ, я всегда предпочитаю кануны — великимъ днямъ. завтра здѣсь будетъ такое столпотвореніе Вавилонское, когда наѣдутъ окружные зубры и центавры! . . . Вѣдь тебѣ нужна популярность, Степанъ . . . Ничего не подѣлаешь, если

кресло въ кругломъ залѣ Таврическаго Дворца тебѣ занять охота.

. . . Ну, довольно охорашиваться, князь, и безъ того завтра поразишь сердца всѣхъ мѣстныхъ красавицъ; пойдемъ искать нашу очаровательную хозяйку . . . —

Раннимъ утромъ, радостно-призывный звонъ собираетъ въ церковь толпы нарядныхъ крестьянъ. Самъ архіерей совершаетъ службу и будетъ освящать новый домъ.

Мира подводитъ сына къ причастію. Церковь — свыше мѣры наполнена гостями и крестьянами . . .

. . . Сельскій праздникъ въ полномъ разгарѣ . . . Вдоль задняго крыльца длинными рядами стоятъ узкіе столы съ явствами для народа. Конюха выкатываютъ бочки съ виномъ и медомъ. Новорожденный самъ распредѣляетъ лакомства среди дѣтей.

Съ лужайки разносятся далеко по окрестности звуки духового оркестра. Ежеминутно къ подъѣзду дома подъѣзжаютъ, громыхая бубенцами, тройки съ сосѣдними помѣщиками.

Пріѣхалъ губернаторъ, дядя Миры, веселый, общительный старикъ, bon vivant и хроническій подагрикъ.

Хлѣбосольство Несвижскихъ развернулось во всю ширь . . . Вина — море разливное . . .

Послѣ шумнаго обѣда съ безконечными тостами и заздравицами импровизируются танцы: Алексѣй ведетъ котильонъ и, увлекшись, заканчиваетъ запутанную фигуру въ бассейнѣ бьющаго фонтана, подъ общій восторгъ молодежи.

Мира избѣгаетъ длительнаго разговора съ княземъ. Встрѣчаясь, они обмѣниваются лишь незначительными фразами, но ихъ глаза говорятъ яснѣе словъ. Берендѣевъ не спускаетъ глазъ съ любимой женщины. Когда она проходитъ мимо, слегка задѣвая его платьемъ, или улыбается ему издали — онъ на верху счастья.

Кириллъ въ восторгѣ отъ многочисленныхъ подарковъ, полученныхъ имъ, ко дню его семилѣтія; они удовлетворили его самыя завѣтныя желанія. Онъ съ нетерпѣніемъ ожидаетъ начала фейерверка и, когда раздается оглушительный разрывъ первой ракеты, весело бьетъ въ ладоши и громко считаетъ разбѣгающіяся по небу звѣздами и моментально гаснущія искры.

Луна поднялась надъ озеромъ и надменно-насмѣшливо созерцаетъ искусственные огни разноцвѣтныхъ фонариковъ, мелькающіе среди зелени листвы парка . . .

Празднество продолжается всю ночь и уже яркое солнце золотитъ верхушки деревьевъ, когда замолкаетъ топотъ лошадей и звукъ колесъ послѣдняго отъѣхавшаго экипажа . . .

Поднявшись въ свои комнаты, утомленная Мира забывается тяжелымъ сномъ . . . Кошмары

преслѣдуютъ ее, въ эту первую ночь подъ кровлей новаго жилища. Призраки обступили ее и хороводомъ вьются вокругъ . . . Она слышитъ зловѣщій хохотъ, похожій на рыданіе . . . Чьи-то руки отрываютъ отъ нея Кирилла и влекутъ ее въ безпросвѣтную тьму . . .

Мира просыпается . . . Она лежитъ на спинѣ, съ холодными каплями пота на лбу. Объятая ужасомъ, бѣжитъ она въ комнату сына, смежную съ ея спальней . . .

Кириллъ спокойно дышетъ; его губы улыбаются счастливой улыбкой . . . Ему снятся радостные сны. Пробравшійся сквозь темныя жалюзи, лучъ солнца играетъ на его золотистыхъ кудряхъ . . .

— Мое счастье . . . Моя радость — . . . шепчетъ счастливая мать, прикасаясь губами къ порозовѣвшей отъ сна щечкѣ сына.

— Никто — никогда не разлучитъ меня съ тобой! — . . .

. . . Сославшись на нездоровье, Мира проводитъ весь слѣдующій день у себя наверху.

Усадьба опустѣла, остались лишь самые близкіе родственники, въ томъ числѣ Алексѣй и Берендѣевъ-Сумской.

Мира боится предстоящаго объясненія съ княземъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ ей, — какъ можно дольше хочется протянуть его пребываніе здѣсь, подъ одной кровлей. Она знаетъ, что, услыхавъ ея обезнадеживающій отвѣтъ, Берендѣевъ-Сумской навсегда исчезнетъ съ ея горизонта и съ нимъ вмѣстѣ угаснетъ огонекъ, голубымъ свѣтомъ озаряющій ея одинокія мечты.

Мира изъ раскрытаго окна слѣдитъ за гуляющимъ по саду княземъ.

. . . Къ нему подбѣгаетъ Кириллъ . . . Они о чемъ-то оживленно спорятъ . . .

Берендѣевъ садится на скамейку, беретъ на руки ребенка и, зажавъ его головку между ладонями, медленно цѣлуетъ его глаза, щеки; . . . его свѣжія губки.

Мира чувствуетъ, что эти поцѣлуи относятся къ ней, . . . что, цѣлуя ея сына, князь цѣлуетъ ее, . . . ея образъ, отражающійся въ чертахъ Кирилла . . .

У нея захватываетъ дыханіе. Ей кажется, что сердце не выдержитъ и разорвется на части отъ страстнаго волненія . . . Въ изнеможеніи она отрывается отъ окна и падаетъ въ рядомъ стоящее кресло.

— Освободи меня отъ моей клятвы . . . Освободи, . . . — шепутъ въ отчаяніи ея губы. — Я люблю, . . . безумно люблю и хочу быть любимой! — . . .

. . . Мира спускается на террассу къ обѣду.

При ея появленіи, князь не скрываетъ своей радости . . .

— Я нахожу, что природа очень теряетъ, не украшенная твоимъ присутствіемъ, Мирочка, — шутитъ Алексѣй.

— Мы съ княземъ весь паркъ обѣгали до обѣда, но онъ все, нѣтъ-нѣтъ, на твои окна такіе взгляды бросалъ, что я думаю, покойный Мита̀ не разъ въ гробу перевернулся . . . —

— Ахъ, оставь твои неумѣстныя шутки, Алекъ . . . — хмурится Мира, вздрагивая при упоминаніи имени Березина.

Алексѣй сознаетъ необдуманность своихъ словъ, которыя разбередили незажившую еще рану въ сердцѣ молодой женщины, и старается сгладить непріятное впечатлѣніе . . .

Со свойственнымъ ему юморомъ, онъ переводитъ разговоръ на вчерашнихъ гостей и, имитируя ихъ вызываетъ невольный смѣхъ у всѣхъ присутствующихъ.

— Проѣдемтесь на лодкѣ по озеру, — предлагаетъ Берендѣевъ-Сумской послѣ обѣда.

— Мнѣ разсказывалъ Кириллъ, что посрединѣ оно покрыто водяными лиліями, это — должно быть очень красиво . . . Вы согласны поѣхать, Мира Арсеньевна? —

— Хорошо, съ удовольствіемъ. Ты составишь намъ компанію, Алекъ? —

— Ну нѣтъ, уволь меня, дорогая, я еще не пришелъ въ себя отъ вчерашняго бассейна, жертвой

котораго сдѣлались не только мои ботинки, но и, кажется, мое здоровье.

— Я пойду сегодня пораньше спать, belle soeur'очка . . . Не люблю я водяныхъ развлеченій . . . —

— Почему вы не хотите поѣхать со мной à deux, Мира Арсеньевна, я въ совершенствѣ владѣю весломъ, и за вашу безопасность вполнѣ ручаюсь. —

— Я не боюсь опасности, — вызывающе отвѣчаетъ Мира, слѣдуя за Берендѣевымъ по направленію къ пристани.

Они отчаливаютъ отъ берега.

Князь сидитъ на веслахъ, — Мира у руля.

Полная луна отражается въ серебрящейся зыби озера. Они отплыли далеко отъ дома . . .

— Что это тамъ вдали, — спрашиваетъ Берендѣевъ-Сумской.

— Это островъ любви и смерти — заповѣданное мѣсто, — поясняетъ Мира. — Мой прадѣдъ построилъ тамъ храмъ въ честь Венеры, разрушенный позже крѣпостными, въ одну ночь, по приказанію дѣла . . . —

— Что за варварскій способъ уничтожать такіе оригинальные памятники прошлаго, — удивляется князь.

— Это одна изъ семейныхъ трагедій: дѣдъ засталъ на островѣ свою молодую жену въ объятіяхъ сына отъ перваго брака и, какъ гласитъ преданіе, утопилъ его въ озерѣ. Молодая женщина сошла съ ума въ ту ночь, но, такъ-какъ, уликами служилъ лишь ея безсвязный бредъ — дѣло не

получило огласки. Однако съ тѣхъ поръ никто не приближался къ заповѣданному мѣсту . . . —

— Подъѣдемте, Мира Арсеньевна, нарушимъ традицію . . . Вѣдь вы только-что похвастались, что не боитесь опасности! —

— Если это можетъ служить доказательствомъ, я согласна, хотя мнѣ жаль спугивать тѣни, вокругъ которыхъ въ ранней юности витала моя фантазія. —

Они пристаютъ къ берегу.

Князь прыгаетъ на землю и протягиваетъ руку Мирѣ. Она опирается на его плечо и нечаяннымъ движеніемъ отталкиваетъ лодку. Боясь, что молодая женщина потеряетъ равновѣсіе, князь обхватываетъ ее своими сильными руками, высоко поднимаетъ на воздухъ и медленно опускаетъ на землю.

— Мы чуть-было не упустили лодку, Мира Арсеньевна . . . Вотъ былъ-бы случай, еслибы мы съ вами остались отрѣзанными на этомъ островѣ, подъ покровительствомъ гуляющихъ здѣсь тѣней влюбленныхъ, которые заплатили жизнью за мигъ счастья раздѣленной любви . . . — Я не отказался бы отъ такой-же участи, Мира, — шепчетъ Берендѣевъ, прижимая къ своей груди молодую женщину.

— Мира . . . моя любимая, . . .такая для меня далекая, . . . такая, въ мечтахъ, желанная! . . . —

Онъ покрываетъ ея лицо жаркими поцѣлуями . . . Мира не сопротивляется . . . Ея губы отвѣчаютъ его губамъ . . . Ея мятежное сердце

вырвалось изъ повиновенія холоднаго разсудка! . . .

. . . Они стоятъ у руинъ языческаго храма. Ничто не нарушаетъ царящей тишины.

— Совсѣмъ, какъ въ заколдованной сказкѣ . . . — улыбается Мира, наклоняясь къ бѣлымъ водянымъ лиліямъ, тѣснымъ кольцомъ окружившимъ берега острова.

— Какіе странные цвѣты . . . я никогда ихъ не видѣлъ вблизи, — говоритъ Берендѣевъ.

— Да, они цвѣтутъ лишь въ самыхъ укромныхъ уголкахъ озера, вдали отъ людского глаза, и носятъ названіе — »розъ смерти«, — среди просто народья, — отвѣчаетъ Мира, передавая сорванныя лиліи князю.

. . . Они возвращаются къ лодкѣ. Вѣтеръ уноситъ ихъ обратно. Берендѣевъ сложилъ весла и расположился у ногъ любимой женщины. Молча, сидятъ они, боясь словами спугнуть настроеніе . . . Ихъ мысли сосредоточены на переживаемыхъ минутахъ безотчетнаго счастья . . .

Обогнувъ берегъ, лодка подплываетъ къ фасаду дома, длинными полосами отражающемуся въ водѣ озера.

. . . Вдоль балюстрады верхняго этажа движется тонкая фигура въ бѣломъ . . .

Мира первая замѣчаетъ ее и съ ея губъ срывается крикъ испуга.

Фигура вздрагиваетъ, взмахиваетъ руками и летитъ съ высоты на землю . .

Раздается шумъ паденія тѣла и эхо гулко подхватываетъ и отражаетъ жуткій звукъ . . .

Мира застываетъ въ ужасѣ. Она не уясняетъ себѣ случившагося, но что-то оборвалось въ ея груди и невыразимой болью передается по всѣмъ нервамъ.

Берендѣевъ-Сумской, блѣдный, дрожащими руками привязываетъ лодку и, поддерживая молодую женщину, поднимается съ ней по дорожкѣ къ мѣсту паденія. Ему показались знакомыми очертанія фигуры и его мозгъ сверлитъ безумная мысль, что сейчасъ онъ подведетъ Миру къ трупу ея сына, подъ гипнозомъ сіянія луны вышедшаго на опасную прогулку, и разбившагося на смерть при громкомъ вскрикѣ матери . . .

. . . Тихо въ новомъ бѣломъ домѣ . . . Внизу въ двухсвѣтномъ залѣ, среди зелени тропическихъ растеній, на высокомъ катафалкѣ лежитъ вытянутое, точно выросшее, тѣло маленькаго Кирилла . . .

Темныя рѣсницы бросаютъ длинныя тѣни на его безжизненное блѣдное лицо. Руки сложены на груди, какъ будто-бы въ молитвѣ . . .

Степанъ не отходитъ отъ мертваго сына; его воспаленные глаза прикованы къ безжизненному личику . . . Изрѣдка по дому разносится его заглушенное рыданіе . . .

Берендѣевъ, совершенно подавленъ происшедшимъ и мечется по парку въ нѣмомъ отчаяніи...

Жизнерадостный Алексѣй неузнаваемъ: его истерическіе выкрики во время панихидъ заражаютъ присутствующихъ. Онъ оплакиваетъ Кирилла съ неподдѣльнымъ, искреннимъ порывомъ и не отходитъ отъ своихъ, убитыхъ горемъ стариковъ родителей.

Одна Мира поражаетъ всѣхъ спокойствіемъ . . .

Послѣ того, какъ она первая подошла къ распростертому на травѣ тѣлу сына и поняла неотвратимость случившагося, она какъ будто-бы окаменѣла . . .

Запершись у себя на верху, она со странно-просвѣтленнымъ лицомъ ходитъ по комнатамъ . . . Что-то шепчетъ на ходу, . . . кому то улыбается, или, часами просиживаетъ въ креслѣ, устремивъ остановившійся взглядъ въ невѣдомую даль, точно видитъ что-то недоступное людскому земному взору, . . . будто передъ ней открылись тайны вѣчности . . .

Мира не сходитъ внизъ къ останкамъ сына...

Ее не видно даже во время панихидъ.

. . — Она потеряла разсудокъ, — передаетъ изъ устъ въ уста людская молва. — Она безумна! . . . —

Башенные часы бьютъ полночь.

Безшумной походкой спускается Мира по бѣлой каменной лѣстницѣ. Она движется точно привидѣніе по залитой луной лужайкѣ . . .

Берендѣевъ бодрствуетъ. Онъ слышитъ чьи-то легкіе шаги подъ окнами и пріоткрываетъ дверь балкона. Мира входитъ еле касаясь пола.

— Мой любимый —, шепчетъ она, — я пришла къ тебѣ, какъ обѣщала . . . Ты ожидаешь меня? . . . Мнѣ такъ холодно . . . Согрѣй меня, посмотри, какъ бьется мое сердце . . . —

— Мира, Мира, — въ ужасѣ шепчетъ Берендѣевъ.

Ты думаешь я безумна? . . . —

Она смѣется тихимъ смѣхомъ отчаянія.

— . . . Безумна! . . . О нѣтъ, я только теперь познала мудрость, скрытую отъ глазъ людей покровомъ тайны . . .

— Я была безумна, безумна раньше, когда со своими слабыми силами пробовала бороться противъ законовъ природы.

— Я была безумна, давая клятву отреченія отъ счастья, которую не въ силахъ была сдержать . . . Я заплатила разлукой съ самымъ дорогимъ для меня на свѣтѣ, моимъ сыномъ, за любовь мою, которая сильнѣе смерти . . . Я поняла, что въ жизни все условно . . . Счастье — лишь въ дерзновеніи . . . —

— Мира, Мира . . . приди въ себя, дорогая . . . Мира, опомнись, . . . очнись! —

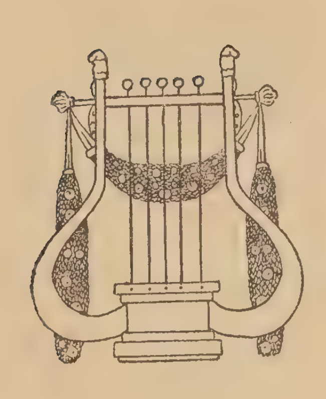
— Ты боишься меня? . . . Отталкиваешь! . . . А я такъ стосковалась по тебѣ! . . . —

Она медленно поворачивается, осторожно подбираетъ длинный подолъ бѣлаго платья и, точно уплывая, исчезаетъ за густыми деревьями по направленію озера . . .

Изъ часовни доносится монотонное чтеніе дьячка надъ тѣломъ усопшаго Кирилла . . .

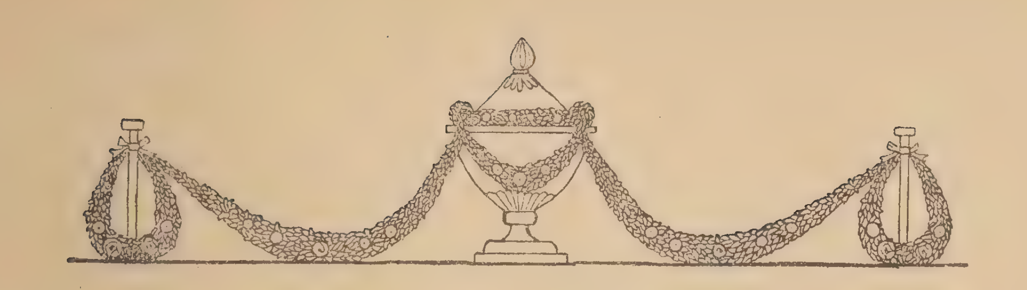
Берендѣевъ бѣжитъ къ озеру по слѣдамъ скрывшейся Миры . . . Онъ издали слышитъ короткій, громкій всплескъ. Крупные круги расходятся по спокойной глади сонной воды . . . Надъ ними развернулъ свое прозрачное покрывало, — непреодолимый рокъ . . .

Берлинъ, Августъ-Сентябрь 1921 г.



3.

„Ambre antique“.



Я пріѣхалъ въ Лугано въ свѣтлую, лунную ночь начала мая.

Послѣ душнаго вагона, безчисленныхъ туннелей, въ продолженіи которыхъ мое купэ наполнялось сквозь всѣ щели удушливымъ дымомъ и запахомъ каменнаго угля, чистый воздухъ Лугано, высокіе кипарисы, въ хвалѣ простирающіе свои вершины къ небу, вся эта спокойная красота залитыхъ луной, дремлющихъ водъ итальянскаго озера привела меня въ состояніе, близкое къ экстазу.

Балконъ моей комнаты, увитый цвѣтущими блѣдно-лиловыми гроздьями vignes vierges, казалось, висѣлъ въ воздухѣ . . . Жизнь скованнаго сномъ отеля замерла. Лишь издали доносились аккорды гитары и переливы мужского голоса, пѣвшаго о любви, . . . о неудовлетворенной страсти . . .

Моя нарядно обставленная комната напоминала будуаръ красивой женщины и какъ-то не вязалась съ представленіемъ объ отелѣ, гдѣ съ быстротой калейдоскопа мѣняющаяся публика не

оставляетъ воспоминанія о своей исчезнувшей индивидуальности.

Въ воздухѣ носился пряный ароматъ духовъ, женскаго тѣла, культа красоты . . .

Я долго не могъ заснуть въ эту душную майскую ночь! Запахъ духовъ, сгустившійся благодаря закрытой двери балкона, сладкимъ дурманомъ наполнялъ всѣ поры моего тѣла, . . . дыханіе, . . . мозгъ . . . Мнѣ слышались таинственные шорохи . . . чьи-то шаги, . . . вздохи. Мнѣ грезилась красавица женщина . . .

Я проснулся среди ночи отъ охватившаго меня сладкаго кошмара; ясно чувствовалъ я, близко рядомъ, присутствіе женщины . . . Она покрывала меня безконечными поцѣлуями и укусами, . . . такъ что было — сладко и больно . . . больно и сладко! . . .

Я распахнулъ окно и высунулъ свою одурманенную сномъ голову, жадно вдыхая свѣжую прохладу ранняго утра. На блѣдномъ небѣ красной полоской занималась заря. Кругомъ стояла прозрачная тишина . . .

На моей шеѣ за ухомъ горѣло воспоминаніе о послѣднемъ поцѣлуѣ — вѣрнѣе, укусѣ . . . Вспоминать, о которомъ было — сладко и больно . . . больно и сладко! . . .

Кто ты, — преслѣдовавшій меня въ продолженіе сна призракъ? За чью измѣну, за чью глухую къ твоимъ порывамъ не нашедшую отвѣта страсть, мстишь ты мнѣ, невѣдомому тебѣ обитателю покинутой тобой комнаты, стѣны, воздухъ которой,

сохранили флюиды твоего пребыванія, . . . твоихъ переживаній! . . .

Кто ты, разсыпавшійся въ легкой дымкѣ утренней зари призракъ? . . .

* * *

. . . Я всецѣло находился во власти галлюцинацій, не выпускавшихъ изъ душнаго плѣна моихъ притупленныхъ нервовъ . . . Какъ только спускалась душная ночь, ароматъ духовъ расползался по комнатѣ окутывая дурманомъ, обостряя мои чувства . . .

Однажды ночью, я рѣшилъ во что-бы то ни стало добиться источника этого яда . . .

Я перерылъ всѣ вещи, ящики письменнаго стола, . . . комода. Мои руки судорожно схватывали и переворачивали всѣ попадавшіеся на пути предметы.

Мнѣ сопутствовали носившіеся въ воздухѣ жемчужные переливы молодого женскаго смѣха.

Въ бѣшенствѣ, не помня себя, я схватилъ тяжелый кожанный бюваръ и со всего размаху бросилъ его на полъ. Отъ силы паденія открылось, незамѣченное мною его потайное отдѣленіе и нѣсколько листочковъ цвѣта стараго пергамента разсыпались по ковру.

Съ восторгомъ побѣдителя бросился я поднимать эти тонкіе листы, исписанные крупнымъ,

капризнымъ почеркомъ и, несомнѣнно, носившіе слѣдъ чужой тайны, . . . раскрытый уголокъ переживаній женской сложной души . . .

Это было письмо, написанное въ одну изъ такихъ-же ароматныхъ весеннихъ ночей. Письмо — типа писемъ, которыя пишутся для себя и большей частью остаются неотосланными, такъ-какъ писавшій такое письмо, изливъ свои чувства на бездушной бумагѣ и воспоминаніями разбередивъ незажившія раны на смерть пораженной души, не находитъ въ себѣ силы отправить его адресату.

— Вотъ оно, содержаніе этого женскаго письма, написаннаго на изысканномъ французскомъ языкѣ.

* * *

— Я вамъ пишу . . . Я Вамъ пишу кровью сердца, мой милый мальчикъ, . . . мой Loulou . . . —

Я вамъ пишу въ дивную ночь . . . ночь Лугано, въ той самой комнатѣ гдѣ мы были такъ счастливы, . . . счастливы вмѣстѣ! . . .

Въ раскрытое окно на меня смотритъ полная луна, которая одинаково свѣтитъ Вамъ и подъ гипнозомъ сіянія которой воскрешается забытое, сданное въ архивъ прошлое . . .

Я знаю, Вы думаете обо мнѣ сегодня! Полный суевѣрій, Вы не забыли клятвы, связавшей насъ

обѣщаніемъ вспоминать другъ друга въ день годовщины нашей первой встрѣчи . . .

О, какъ хотѣлось-бы мнѣ сейчасъ, хоть на мгновеніе, снова овладѣть всѣмъ Вашимъ существомъ, . . . желаніями, . . . чувствами! . . .

Гдѣ Вы сейчасъ, мой Loulou? . . .

На открытой террассѣ моднаго курорта Вы, можетъ-быть, лѣниво тянете сквозь соломинку Вашъ любимый Cherry Cobler подъ тягучіе, страстно-призывные звуки цыганскаго оркестра . . .

Вашъ усталый взоръ покоится на безбрежной глади моря . . . Изрѣдка Васъ пробуждаетъ къ дѣйствительности всплескъ набѣжавшей и разбившейся о мраморныя ступени волны . . .

Она напоминаетъ Вамъ о такой-же волнѣ нашихъ чувствъ, невѣдомо гдѣ зародившейся и откуда пришедшей, чтобы также разбиться о холодный мраморъ жизни.

. . . Вы вспоминаете . . . вспоминаете . . .

Вы вспоминаете меня, быть можетъ, подъ сковывающій Вашу душу холодомъ ропотъ Вашей чопорной супруги, близкой Вамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такой далекой Вашимъ чувствамъ и желаніямъ . . .

Вы вспоминаете . . . вспоминаете . . .

А, можетъ быть, склонившись надъ колыбелью Вашего сына, отпрыска славнаго рода герцоговъ Віанти, Вы тщетно гоните мой призракъ, преслѣдующій Васъ даже въ чистой атмосферѣ дѣтской.

Вы вспоминаете . . . вспоминаете . . .

О, я должна Вамъ сегодня сознаться, Loulou, что она не была случайной — наша встрѣча . . . Она

была задолго задумана и удачно инсценирована мною, уже любившей Васъ, принадлежавшей Вамъ въ грезахъ мечты . . .

Я полюбила Васъ задолго до встрѣчи. Изъ разсказовъ Вашихъ двухъ старыхъ тетушекъ, я изучила мельчайшія подробности Вашей сущности, тоньчайшіе изгибы Вашей утонченной души. Я готовилась къ встрѣчѣ съ Вами, — величайшему празднику моей жизни . . .

Въ солнечное утро Вашего пріѣзда, зная о Вашей привычкѣ купаться въ излюбленномъ Вами угогкѣ озера, я поплыла Вамъ на встрѣчу въ лодкѣ. Окутанная прозрачной кружевной дымкой бѣлаго платья, съ огромной охапкой ярко-желтыхъ и блѣдно-розовыхъ, чайныхъ розъ, съ зеленымъ вуалемъ поверхъ незаплетенныхъ косъ, я показалась Вамъ не реальнымъ видѣніемъ, — грезой, сотканной лучами весенняго солнца . . .

Я увидѣла Вашъ застывшій въ нѣмомъ восхищеніи взглядъ . . . Вашу кудрявую голову, еще влажную отъ хрустальныхъ брызгъ голубой воды озера . . .

Я полюбила Васъ интуитивно, безъ желанія борьбы съ новымъ чувствомъ, всецѣло захватившимъ меня чарами колдовства.

Помните-ли Вы — сумасшествіе нашихъ объятій, Loulou? . . . Помните-ли Вы — двѣ недѣли, проведенныя въ Венеціи? . . . Балконъ, по которому Вы пробирались ко мнѣ ночью?

. . . Не только наши тѣла — наши души цѣловали другъ друга . . . Ненасытные въ нашей любви, мы искали утонченныхъ переживаній,

стараясь слить впечатлѣнія настоящей жизни съ воспоминаніями прежняго бытія . . . О, мы навѣрное въ теченіе ряда вѣковъ жили одновременно . . . и наши тоскующія души тщетно искали другъ друга . . .

Чье спокойствіе нарушили мы? Какой рокъ тяготѣетъ надъ нами, мѣшая намъ прочно слиться, чтобы не блуждать болѣе въ суетностяхъ здѣшняго міра? . . . Увы! мы и на этотъ разъ не овладѣли другъ другомъ . . .

. . . Помните-ли Вы горестный вечеръ нашей разлуки, Loulou? . . .

Вы были въ полномъ невѣдѣніи, а я старалась притвориться, . . . старалась казаться веселой . . .

Стояла такая-же дивная лунная ночь, ея сіяніе соперничало съ горѣвшимъ разноцвѣтными огнями отелемъ. Внизу въ громадномъ Hall 'ѣ пѣли скрипки и я носилась въ Вашихъ объятіяхъ въ послѣднемъ, прощальномъ вальсѣ . . .

Тѣсно прижавшись, Вы вдыхали ароматъ моихъ духовъ античной амбры . . . Вы шептали мнѣ слова любви, . . . неумирающей страсти . . .

Окаменѣлая отъ горя, я старалась запечатлѣть въ больномъ мозгу малѣйшія черты Вашего дорогого, одухотвореннаго лица . . .

Я прощалась, . . . я навѣки прощалась съ Вами, мой Loulou! . . .

Утромъ Ваши чопорныя тетки униженно умоляли меня сойти съ Вашего пути, не мѣшать Вашему браку . . . Младшій сынъ, Вы были лишены богатствъ Вашихъ предковъ. Неисправимый вѣтренникъ, мечтатель и поэтъ, Вы неспо-

собны были самостоятельно завоевать себѣ положеніе; Васъ ожидала съ дѣтства Вамъ предназначенная невѣста, некрасивая, сварливая, но зато несмѣтно богатая . . . И я покорилась этой чудовищной несправедливости, . . . я уступила васъ, . . . добровольно уступила . . .

Но Вы должны знать, Loulou: мы, русскія женщины, навѣки отдавъ свою душу любимому человѣку, не забываемъ . . . и я не забуду Васъ; Вашъ образъ постоянно со мною, . . . часто ночью мнѣ слышится Вашъ голосъ . . . Мнѣ чудятся Ваши шаги . . .

. . . Я не способна больше на любовь, . . . но мое чувство къ Вамъ притягиваетъ ко мнѣ сердца мужчинъ. И я безжалостна, — за Васъ одного я мщу всѣмъ. Мнѣ никого не жаль, . . . вѣдь я сама страдаю! . . .

Меня прозвали »роковой« женщиной, Loulou. . . . Но въ чемъ мой рокъ? . . . Безпощадный рокъ? — Въ разлукѣ съ Вами, мой далекій, безгранично любимый мальчикъ! . . .

На этомъ письмо обрывалось . . .

Я сжегъ на свѣчкѣ листочки — цвѣта стараго пергамента, съ ними разсѣялся и ароматъ духовъ античной амбры.

Послѣдующія ночи я спалъ спокойно, но мнѣ стало скучно.

Безпрерывный дождь колотилъ въ окна, смывая въ своемъ стремительномъ потокѣ опавшія головки такъ-еще недавно свѣжихъ цвѣтовъ vignes vierges, блѣдно-лиловой пеленой обвивавшихъ мой балконъ.

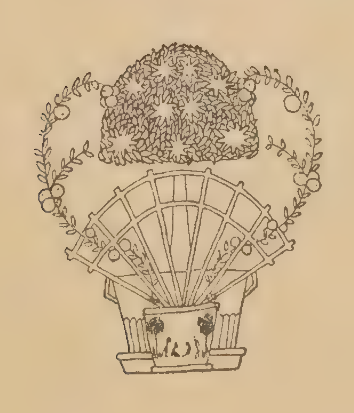
Меня потянуло уѣхать . . .

Скорый поѣздъ съ шумомъ проносившійся у подножія виднѣющейся изъ моихъ оконъ горы, манилъ меня вдаль, навстрѣчу новымъ впечатлѣніямъ . . .

Я съ облегченіемъ захлопнулъ дверь купэ. Каменноугольный дымъ, ворвавшійся съ первымъ мелькнувшимъ туннелемъ, показался мнѣ бодрящимъ и пріятнымъ . . . Но, я съ непонятной для меня грустью разставался на этотъ разъ съ Лугано.

. . . Мнѣ грезилось раннее утро; . . . изгибъ озера и выплывающая изъ за угла поворота лодка съ красавицей женщиной, избравшей своими духами — слезы тысячелѣтія тому назадъ росшихъ деревьевъ. Падая въ воду и застывая, онѣ принимали форму янтаря, мистическимъ ароматомъ котораго душилась женщина, умѣвшая одновременно — любить, страдать и жертвовать! . . .

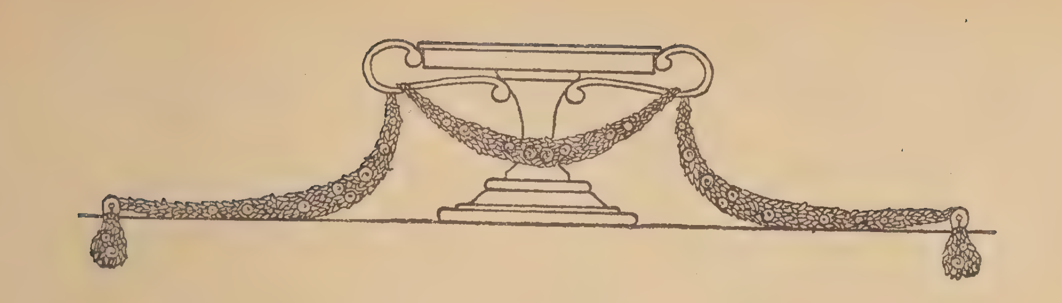
Петроградъ. Апрѣль 1919 г.





4.

Фонарный столбъ.



. . . Сырой осеннiй день середины октября . . .

Туманъ, низко повисъ надъ Петербургомъ: въ его влажной, мутной гущинѣ ныряютъ прохожiе. Слышатся тревожные звонки трамвая . . . Громкiе окрики кучеровъ . . .

Римма Коломбатовичъ, быстро обогнувъ Фонтанку у Лѣтняго сада, сворачиваетъ на Пантелеймоновскую и исчезаетъ въ воротахъ большого многоэтажнаго дома.

Пошаривъ въ карманѣ, она вынимаетъ французскiй ключъ и отпираетъ скрытую въ подворотнѣ дверь элегантной гарсоньерки.

Въ нарядныхъ небольшихъ комнатахъ съ тяжелыми портьерами на окнахъ царитъ невозмутимая тишина . . .

Римма сбрасываетъ свое отсырѣвшее коверкотовое пальто, вѣшаетъ его въ передней и, повернувъ кнопку выключателя, тщательно поправляетъ у зеркала свои гладкiе, блестящiе, изсиня-черные волосы, стянутые тугимъ узломъ на затылкѣ.

Въ гостинной, обтянутой оранжевымъ шелкомъ съ декоративно разбросанной мебелью въ темно-

сѣрыхъ тонахъ, холодно. Римма растапливаетъ каминъ и вытянувъ къ огню руки грѣетъ свои иззябшія ладони, почти касаясь яркихъ языковъ пламени.

Она стоитъ на колѣняхъ: ея узкое, овальное лицо, съ печально сверкающими темными глазами, оригинально страннымъ выраженіемъ чувственнаго ярко-краснаго рта, выступающаго на оливковой матовой кожѣ, безъ тѣни румянца.

Римма Коломбатовичъ — южанка. Ея дѣтство протекло на Балканахъ. Югославянка по отцу, она, тѣмъ не менѣе, носитъ отпечатокъ породы англосаксонской расы, къ которой принадлежала ея мать, умершая при рожденіи своего единственнаго ребенка.

Римма Коломбатовичъ — круглая сирота. Окончивъ Смольный институтъ, она получила стипендію въ консерваторію. Низкій грудной, природой поставленный голосъ — ея единственный капиталъ.

Она живетъ у своей старой дальней родственницы, фрейлины Высочайшаго двора, пріютившей молодую дѣвушку, чтобы развлечь свое скучное одиночество, и тиранизировавшей ее съ присущей старымъ дѣвамъ сухостью.

Римма не ропщетъ: нѣсколько часовъ, которые она проводитъ здѣсь, въ гарсоньеркѣ барона Армсгофенъ, вполнѣ искупаютъ и скрашиваютъ ея унылые дни.

Она увлеклась барономъ, представленнымъ ей въ Смольномъ на выпускномъ балу.

Высокій, стройный блондинъ, съ гладко расчесаннымъ посерединѣ головы проборомъ, онъ хорошо носилъ изящный лицейскій мундиръ; его нѣсколько фатоватая манера разговора и небрежная барская повадка произвели на юное сердечко дѣвушки неотразимое впечатлѣніе.

— Что-это за кушанье — Римма Коломбатовичъ? Представь меня, она, говорятъ, незаурядное явленіе на безцвѣтномъ фонѣ выпускного класса этого сезона . . . — сказалъ баронъ своему другу, веселому, популярному правовѣду Боло Грибскому.

— Très bien, mon chèr, только не дѣлай мнѣ конкуренціи — Римма Коломбатовичъ одна изъ тринадцати, владѣющихъ моимъ обширнымъ сердцемъ! . . . —

Римма понравилась барону своей неиспорченностью и полнымъ невѣдѣніемъ жизни. Онъ съ холоднымъ эгоизмомъ увлекся ею и постепенно развращалъ молодую дѣвушку, повѣрившую его любви и обѣщанію жениться.

* * *

Стукъ входной двери прервалъ задумчивость Риммы. Она вздрогнула, оторвалась отъ камина и быстро пошла навстрѣчу барону, показавшемуся на порогѣ комнаты.

— Я уже около часу ожидаю тебя, Генрихъ, — сказала она съ упрекомъ, цѣлуя его гладко выбритую щеку.

— Меня задержали въ министерствѣ, Римма . . . Сегодня рѣшилась моя судьба. Я принялъ назначеніе секретаремъ въ Мадридъ и черезъ двѣ недѣли долженъ отправиться къ мѣсту моей новой службы.

. . . Я буду часто писать тебѣ, — сказалъ онъ поспѣшно, поймавъ испуганный взглядъ дѣвушки . . ., а къ веснѣ выпишу тебя, если ты не найдешь мнѣ замѣстителя . . . Вѣдь сердце красавицы такъ неустойчиво! . . . — запѣлъ онъ, фальшивя, мотивъ избитой аріи.

— Оставь твои вѣчныя шутки, Генрихъ, это невыносимо право . . , — со слезами въ голосѣ произнесла Римма, заламывая руки и медленно закрывая ими свое блѣдное лицо.

— Сегодня рѣшилась твоя участь . . , но должна рѣшиться и моя . . . Я уже нѣсколько дней тому назадъ хотѣла тебѣ сказать, но все колебалась. —

— Что случилось, дѣвочка? —

— Мнѣ кажется, что я . . . —

Баронъ насмѣшливо свистнулъ. Его лицо сразу пріобрѣло холодное, наглое выраженіе.

— Что-это, шантажъ, Римма? . . . При нашихъ отношеніяхъ дѣтей не бываетъ, дорогая, и, если ты такими выдумками хочешь привязать меня — это потерянное время . . . —

— Что? . . . Что ты сказалъ, . . Повтори! . . . Гнѣвно, со сверкающими глазами крикнула Римма.

— Это шантажъ, — сказалъ я и охотно повторяю. —

Громкій ударъ по щекѣ прервалъ рѣчь барона. Не успѣлъ онъ придти въ себя, — какъ молодой дѣвушки уже слѣдъ простылъ.

Дрожащая отъ оскорбленія, выбѣжала Римма Коломбатовичъ на улицу, на ходу надѣвая въ рукава пальто.

Все ея существо было глубоко потрясено; ужасъ дѣйствительности сковалъ ея сердце холоднымъ кольцомъ. Она шла по улицамъ, почти не сознавая куда идетъ. Громкій окрикъ пробудилъ ее. Она ничего не могла разобрать въ молочномъ туманѣ. Холодные брызги лошадинаго храпа коснулись ея лица . . . Римма почувствовала сильный ударъ въ голову и потеряла сознаніе . . .

* * *

Что случилось, Матвѣй? . . . —

Флора Вестъ пріоткрыла дверь кареты и, ежась отъ охватившей ее сырой мглы, выглянула наружу.

Кучеръ осаживалъ разгоряченныхъ лошадей. . . . Вокругъ собиралась толпа; слышались истерическіе выкрики женщинъ; раздался тревожный свистокъ городового . . .

Флора вышла изъ кареты и, высоко подбирая юбку, въ открытыхъ лаковыхъ туфелькахъ ступала по грязной, мокрой мостовой.

— Человѣка раздавили, барыня, — услышала она раздавшіеся упреки изъ разступившейся передъ ней толпы . . .

Флора Вестъ вплотную подошла къ распростертому на мостовой тѣлу дѣвушки: кровь тонкими струйками сбѣгала по ея щекѣ; рядомъ валялась превращенная въ комокъ шляпа.

— Перенесите барышню ко мнѣ въ карету, я отвезу ее къ себѣ и доставлю потомъ домой, — попросила городового взволнованная Флора.

Ея просьба была немедленно охотно исполнена полицейскимъ, записавшимъ ея адресъ и фамилію кучера.

Карета тронулась въ путь.

Обхвативъ плечи дѣвушки, Флора вытирала тонкимъ батистовымъ платкомъ капли крови и поднесла флаконъ съ солями къ ея носу.

. . . Римма Коломбатовичъ, медленно, приходила въ себя . . . Она пріоткрыла глаза и встрѣтивъ взглядъ незнакомой, молодой, красивой женщины, снова опустила вѣки.

Ей показалось, что она бредитъ. Боль въ верхней части головы усилилась и молодая дѣвушка вновь почувствовала себя дурно . . .

Она очнулась на широкой кровати подъ балдахиномъ, въ роскошной бѣлой спальнѣ; ея руки касались мягкаго шелка одѣяла поверхъ тончайшаго полотна простыни.

— Гдѣ я? . . . — прошептала она въ полусознаніи.

— Слава Богу, вы пришли въ себя, дорогая, не разговаривайте и не волнуйтесь, — вы въ гостяхъ у новаго друга. Выпейте нѣсколько глотковъ вина и постарайтесь заснуть. Докторъ предписалъ вамъ полное спокойствіе. —

Чьи-то ласковыя, женскія руки поправили сбившуюся подушку и поднесли къ губамъ молодой дѣвушки стаканъ съ душистымъ виномъ.

Она выпила нѣсколько глотковъ; блаженное состояніе охватило ее . . .

Риммѣ не хотѣлось разговаривать: сонъ сковывалъ утомленную, забинтованную голову.

Она подложила руку подъ щеку и ея ровное дыханіе успокоило склоненную надъ ней Флору Вестъ.

. . . Прошло нѣсколько дней. Римма Коломбатовичъ быстро выздоравливала, окруженная внимательнымъ уходомъ новой пріятельницы.

Флора Вестъ часами просиживала у ея кровати, поглаживая красивыя, узкія, съ овальными ногтями руки Риммы. Ея ровный тихій съ легкимъ акцентомъ голосъ, успокаивающе убаюкивалъ нервы молодой дѣвушки.

Римма охотно слушала разсказы Флоры о ея дѣтствѣ, проведенномъ въ подвальныхъ этажахъ Монмартрскаго квартала; о грустной юности, службѣ манекеномъ въ одномъ изъ блестящихъ модныхъ салоновъ парижскаго портного и, случайно блеснувшемъ ей счастіи — встрѣчѣ съ богатымъ русскимъ магнатомъ, увлекшимся ея красотой и привезшимъ Флору съ собой въ Петербургъ.

По смерти своего престарѣлаго друга, она наслѣдовала по завѣщанію часть его громаднаго состоянія и жила спокойной, обезпеченной жизнью, частью въ Россіи, частью заграницей.

Услыхавъ исповѣдь Риммы Коломбатовичъ, повѣрившей ей въ свою очередь горечь пережитаго

разочарованія въ любимомъ человѣкѣ, Флора предложила молодой дѣвушкѣ навсегда поселиться у нея.

— Вы должны быть благодарны судьбѣ за то, что она съ первыхъ вашихъ жизненныхъ шаговъ дала вамъ возможность познать безсердечіе и безотвѣтственность мужского эгоизма. Было-бы гораздо хуже, Римма, если-бы это испытаніе пришло въ зрѣломъ возврастѣ, когда уже нѣтъ силъ отступить . . .

Мужчины — наши вѣковые враги. Мы для нихъ служимъ лишь забавой и развлеченіемъ, пока мы дразнимъ ихъ чувственность, . . . но не дай Богъ отдать имъ свое сердце, открыть цѣликомъ душу — это смертный приговоръ нашей свободѣ, нашему могуществу и счастью . . .

Мужчины не въ состояніи понять всѣхъ запросовъ женской души. Они грубы, безпощадны, пресытившись любовью. Сильны лишь женщины, объявившія имъ борьбу. Женщины — для которыхъ они не существующая величина.

Я окружу васъ любовью и нѣжностью — ихъ не способенъ вамъ дать мужчина . . . Нѣтъ тѣхъ средствъ, которыя я пожалѣла-бы, чтобы создать рекламу вокругъ вашего таланта. Вы дадите вашъ первый концертъ будущей весной въ залѣ Дворянскаго Собранія. Возьмите только легкій цыганскій жанръ: послѣ смерти Вяльцевой до сихъ поръ еще не нашлось ей достойной замѣстительницы. —

— Я согласна, Флора, . . . мнѣ такъ хорошо у васъ; я забываю въ вашемъ обществѣ ко-

шмаръ пережитаго . . . О! я охотно буду мстить всѣмъ мужчинамъ за мое поруганное чувство . . . Одна мысль о возможности возврата къ прошлому — приводитъ меня въ изступленіе! . . . —

Кого я любила? . . . Кому подъ ноги были брошены лучшіе порывы? . . Бездушному ничтожеству, прикрытому эффектной маской благородной внѣшности. Если-бы я могла отомстить, унизить его, хотя сотой частью моего униженія, я была-бы вполнѣ удовлетворена! . . .

Я была вѣдь такъ неопытна, Флора, я думала, что стою на порогѣ материнства, . . . мнѣ такъ хотѣлось имѣть ребенка . . .

Шантажъ! Это слово огненными буквами запечатлѣлось въ моемъ сердцѣ . . . —

— Онъ уѣхалъ вчера, Римма, забудьте о немъ навсегда. —

— Уѣхалъ! —

Римма широко раскрываетъ глаза. Крупныя непрошенныя слезы молчаливо бѣгутъ по ея щекамъ, смачивая кружево нарядной сорочки . . . Флора вышла изъ спальни и молодая дѣвушка осталась наединѣ со своими горестными мыслями, внѣ сферы наблюденія своего новаго друга, неожиданно посланнаго ей судьбой.

* * *

. . . Блестящій зимній сезонъ приближается къ концу. На масляной недѣлѣ объявленъ концертъ цыганской пѣсни — Риммы Коломбатовичъ.

Газеты уже за нѣсколько недѣль широко рекламируютъ первое выступленіе молодой дебютантки. Улицы пестрятъ плакатами, извѣщая о днѣ понцерта. Билеты задолго раскуплены публикой, падкой до новинокъ и высокихъ цѣнъ, недоступныхъ для средняго обывателя.

Баронъ Армсгофенъ, вернувшійся въ Петербургъ на побывку, по дорогѣ съ вокзала читаетъ на всѣхъ перекресткахъ имя Риммы Коломбатовичъ.

Любопытство щекочетъ его нервы . . . Онъ посылаетъ изъ гостинницы за билетомъ къ барышнику, не останавливаясь передъ тройной цѣной . .

Въ большомъ залѣ Дворянскаго Собранія собралась элегантная шумная публика всѣхъ премьеръ.

Баронъ въ изысканномъ фракѣ съ крупной бѣлой гвоздикой въ петличкѣ, развинченной походкой направляется къ своему креслу въ первомъ ряду. Кругомъ стоятъ группы хорошо ему знакомой золотой молодежи. Въ центрѣ Боло Грибскій, неизмѣнный поклонникъ Риммы, сіяющій отраженнымъ свѣтомъ предстоящаго успѣха молодой дѣвушки, который онъ считаетъ обезпеченнымъ, въ виду присутствія своихъ безчисленныхъ друзей.

— Ба-а, баронъ, вотъ это стильно! . . . — восклицаетъ онъ, пожимая руку Армсгофенъ.

— Это классъ — пріѣхать къ первому выступленію Риммочки; я готовъ тебя облобызать, душка.

Ты, клянусь, самый тонный человѣкъ на бѣломъ свѣтѣ . . .

— Послѣ концерта ужинъ, я распорядитель и посажу тебя напротивъ Флоры Вестъ . . . Вотъ будетъ картина! . . . —

— Кто-это Флора Вестъ? — морщась отъ шумной встрѣчи пріятеля спрашиваетъ баронъ.

— О, эта тайна не будетъ тебѣ преждевременно открыта — чтобы не испортить эффекта . . . — На ходу, исчезая за дверью, отвѣчаетъ подвижной Боло. Ему надо посторожить, чтобы случайно до слуха Риммы не долетѣла вѣсть о присутствіи на концертѣ барона . . . Она пожалуй заупрямится, не выйдетъ пѣть или просто »сдрейфуетъ«, мелькаетъ въ его мысляхъ.

Баронъ занимаетъ свое мѣсто. Ему непріятны любопытные взгляды знакомыхъ; принявъ холодно-надменное выраженіе, онъ застываетъ въ небрежной позѣ и разсѣянно слѣдитъ за начальными номерами программы . . .

На эстрадѣ появляется при гробовой тишинѣ Римма Коломбатовичъ . . . Ея блѣдное смуглое лицо кажется еще блѣднѣе при блескѣ люстръ. Богатое, парчевое, ярко красное платье залито бриллiантами Флоры Вестъ. Въ ушахъ сверкаютъ крупные солитеры, но еще ярче, еще глубже горятъ черные алмазы ея вдохновенныхъ глазъ . . .

Она окидываетъ ими залъ, . . . ищетъ во второмъ ряду ободряющій взглядъ Флоры и, неожиданно, останавливается на взволнованномъ, безкровномъ лицѣ барона Армсгофенъ, изъ за котораго виднѣется золотистая головка Вестъ.

. . . Безумная мысль, что сейчасъ она можетъ потерять сознаніе, что ея карьера на краю гибели, . . . придаетъ мужество молодой женщинѣ. Стиснувъ зубы и хрустя пальцами сжатыхъ рукъ, она силой воли подчиняетъ себѣ бушующія чувства . . .

Раздается первый аккордъ прелюдіи.

Римма вспыхиваетъ и слегка дрожащимъ голосомъ начинаетъ свой любимый романсъ. Ея голосъ льется свободно, онъ эластиченъ и послушенъ какъ никогда. Интонаціи новыя, особенныя, . . . придаютъ ему небывалую выразительность . . . Грудь порывисто вздымается и слезы слышатся въ передачѣ послѣднихъ словъ романса.

. . . — Вы не вернетесь больше никогда . . .

— Какъ искорки пожара мы столкнулись.

— И разлетѣлись — чтобъ погаснуть навсегда!

Бурный взрывъ апплодисментовъ прерываетъ заключительные аккорды аккомпанимента . . .

Римма выходитъ на несмолкаемые вызовы . . . Она въ упоръ смотритъ на барона Армсгофенъ: точно онъ пустое пространство и улыбается Флорѣ.

Потомъ снова поетъ . . . еще и еще . . . безъ конца. Она поетъ дла него одного, ея голосъ передаетъ всѣ оттѣнки . . . Скорбь, презрѣніе, насмѣшка, . . . упреки, . . . безконечная тоска.

Въ самые безсодержательные романсы сегодня ея душа безсознательно вкладываетъ тончайшую экспрессію. Ея успѣхъ оправдываетъ шумъ предшествовавшей рекламы. Римма поетъ до изнеможенія и колеблющейся походкой уходитъ съ эстрады.

У порога ея уборной стоитъ баронъ. Она хочетъ пройти мимо . . . Армсгофенъ преграждаетъ ей дорогу.

— Римма . . . Ты могла промѣнять меня, промѣнять на женщину! . . . Онъ гнѣвно сжимаетъ ея руку выше локтя.

Римма на мгновенье не отрываясь смотритъ ему въ глаза.

— О, какъ я рада читать въ вашихъ глазахъ отмщеніе за прошлое . . . Да, я промѣняла васъ и безъ сожалѣнія . . . Вы для меня пустое мѣсто, баронъ! . . . Прощайте! . . .

Она вырываетъ руку.

Баронъ застылъ, ошеломленный ея словами. Къ Риммѣ приближается высокая, бѣлокурая женщина съ сильно подведенными голубой ретушью глазами.

— Ты довольна мною, Флора? — спрашиваетъ ее Римма, поднося руку молодой женщины къ своимъ яркимъ, чувственнымъ губамъ.

Баронъ быстро поворачивается и выходитъ, минуя залъ въ вестибюль. Взявъ перваго попавшагося лихача, онъ мчится на острова. Морозный воздухъ постепенно разсѣиваетъ напряженіе, но затаенный гнѣвъ, обида, уязвленное самолюбіе не даютъ покоя.

Возвратившись въ отель, Армсгофенъ заказываетъ себѣ ужинъ и пьетъ вино до тѣхъ поръ, пока его притупленныя алкоголемъ мысли совсѣмъ отказываются ему служить . . .

* * *

На слѣдующій день, провалявшись съ невыносимой головной болью на кушеткѣ, уничтоживъ съ полдюжины бутылокъ нарзана, баронъ пошелъ въ пять часовъ на прогулку по Морской.

— Куда ты направляешь свои стопы, баронъ? — раздается сзади веселый голосъ Боло.

— Иду безъ цѣли . . . Надраться охота. —

— Чудесно, а я иду повѣситься . . . —

— Что это за новый спортъ ты придумалъ, Болеславъ, существуетъ клубъ самоубійцъ, но о висѣльникахъ я слышу впервые.

— Напротивъ — это старо, какъ свѣтъ . . . Конечно, я предпочитаю вѣтвямъ осины шею хорошенькой демимонденки. Ну, однимъ словомъ, идемъ вмѣстѣ, а тамъ что нибудь предпримемъ попикантнѣе . . .

— Я вижу, братецъ, тебя не на шутку разстроилъ вчерашній трюкъ Риммы Коломбатовичъ . . А вѣдь надо ей отдать справедливость, — тонно придуманно . . . Жаль только, если это приметъ серьезный оборотъ; вѣдь Флора Вестъ не одну женщину испортила . . . А шикарно она пѣла . . . какъ это?

— Какъ искорки пожара, мы столкнулись

— Чтобъ разлетѣться въ вихрѣ навсегда! . . . —

И глазища у нея грозовые . . . Молодецъ дѣвченка! Кто ее придумалъ такою? Я себѣ вчера ладони отшибъ, такой ей шумъ дѣлалъ . . .

— Пойдемъ къ Медвѣдю, баронъ, пополоскать виномъ мысли; тамъ сегодня всѣ наши, поминки по младенцу справляютъ . . . —

— Какія поминки! — По комъ? . . . —

— По общему сыну . . . Воспитывали его, няньчили, — ну и закачали . . . Это сына Ванды Рійской. —

— Довольно скверная исторія. —

— И совсѣмъ ты, баронъ, неправъ. Чей ребенокъ — Ванда сама не знаетъ и нашъ выпускъ аккуратно выплачивалъ ей деньги на пеленки, кашку и etc. . . . Ну, а что Мишка̀ младенну спьяна коньяку въ ротъ малость влилъ — это подробности. Надо-же было его съ дѣтства пріучать — быть достойнымъ своихъ пріемныхъ отцовъ. —

— Возьмемъ лихача, — предложилъ баронъ.

Они садятся въ легкія сани и быстро мчатся по Морской. Снѣгъ обдаетъ ихъ легкой пылью. Боло поднимаетъ бобровый воротникъ, закрывая имъ уши. Мимо по Невскому медленно тащутся омнибусъ-сани.

— Эй вы, какъ вамъ не скучно всю дорогу истуканами сидѣть! Вы межъ собою хотя-бы поговорили, — грассируя кричитъ Боло, поровнявшись съ »сорокамучениками«.

— Эхъ, грѣховодникъ, — злобно шамкаетъ старуха въ старомодномъ капорѣ, грозя пальцемъ, но лихачъ уже завернулъ на Конюшенную и остановился у Медвѣдя.

. . . Въ большомъ кабинетѣ налѣво отъ входа пьянство началось уже съ утра, сразу послѣ похоронъ. Во главѣ большого стола сидитъ худенькая, въ траурѣ, Ванда и утираетъ кружевнымъ платочкомъ заплаканные глаза. Новоприбывшихъ встрѣчаютъ заздравицей.

— Довольно оригинальныя поминки, — замѣчаетъ баронъ, здороваясь . . . Ему въ общемъ безразлично . . . Царящій пьяный разгулъ отвлекаетъ его отъ гнетущихъ мыслей.

Вызываютъ оркестръ отъ Донона — таковъ обычай приглашать румынъ изъ другого ресторана, для разнообразія, при переходѣ въ одинъ изъ дальнихъ кабинетовъ.

Вчерашній инцидентъ на концертѣ Риммы Коломбатовичъ обсуждается молодежью на всѣ лады. Шумъ, поднятый вокругъ имени молодой дебютантки, лишь содѣйствуетъ ея славѣ.

— Она станетъ самой модной женщиной, — parole d'honneur —, пью ея здоровье, говоритъ Боло Грибскій.

— Ты, баронъ, ступай купаться . . , а вода холо-о-дная . . . Прозѣвалъ, голубчикъ, утѣшаться тебѣ остается лишь въ объятіяхъ пламенной испанки. Ты, когда въ Мадридъ вышибаешься? Я-бы съ тобой охотно туда на бой быковъ посмотрѣть поѣхалъ, да родители что то монеты туго гонятъ . . . Папахену его балерина здоровую дырочку въ карманѣ надорвала . . .

Эхъ, кабы судьба предоставляла свободный выборъ родителей при рожденіи, я навѣрное не ошибся-бы и во время подковалъ бы Рокфеллера или, на плохой конецъ, хотя-бы нашего замоскворѣцкаго толстосума . . . Дворянство, титулы — къ черту . . . Изъ нихъ теперь не выжмешь ни черта! . . . —

— Поѣдемъ, Боло, ты совсѣмъ готовъ; я довезу тебя, мнѣ по дорогѣ . . . — вставая изъ за стола

и расплачиваясь, обращается къ Грибскому баронъ. Они выходятъ вмѣстѣ. Подручный швейцара, маленькій мальчикъ, одѣтый въ ярко малиновую рубашку на выпускъ и плисовые шаровары, широко распахиваетъ передъ молодыми людьми выходную дверь и сосредоточенно, не выпрямляя спины, отвѣшиваетъ имъ низкіе поклоны.

— Старайся, старайся, малецъ . . . Выростешь — на чай получать будешь! . . . — съ высоты своего крупнаго роста, небрежно роняетъ Боло.

Мальчикъ разочарованно опускаетъ приготовленную было за щедрой подачкой руку, лодочкой.

Баронъ суетъ ему бумажку.

— Изъ молодыхъ, да ранній, — произноситъ онъ, на ходу натягивая перчатку.

— Поѣдемъ встрѣчать разсвѣтъ въ баръ къ Контану, раздавимъ еще пару флаконовъ . . . Какъ-то непривычно ложиться спать при свѣтѣ электричества, — предлагаетъ Грибскій.

— Идетъ, — мрачно соглашается баронъ.

Таксомоторъ, пыхтя и вздрагивая на ухабахъ, везетъ ихъ по набережной Мойки.

* * *

Прошло десять лѣтъ.

Римма Коломбатовичъ завоевала извѣстность и стала во главѣ организованнаго ею театра изящныхъ миніатюръ.

Трудно было въ ней узнать прежнюю неопытную дѣвушку: смѣлость и рѣшительность стали основными чертами ея властнаго характера.

Отъ мужской любви Римма отвернулась навсегда. Баронъ Армсгофенъ былъ ея первымъ и послѣднимъ мужчиной.

Римма Коломбатовичъ посвятила себя всецѣло женщинамъ. Съ годами эта наклонность пріобрѣла опредѣленное теченіе въ сторону однополой любви.

Въ обществѣ ее считали оригиналкой; мужчины обращались съ ней по товарищески и охотно проводили время въ ея обществѣ, благодаря располагающимъ къ ней ея веселому юмору и постоянно прорывающемуся наружу, доброму, отзывчивому сердцу.

— Ты хорошій товарищъ Римма и, хотя я жестоко уклеился въ моихъ чувствахъ къ тебѣ, я все-же остался твоимъ вѣрнымъ поклонникомъ, только не порти моихъ женщинъ, голубчикъ, — говаривалъ ей Боло Грибскій за стаканомъ вина, во время веселыхъ пирушекъ.

— Эхъ ты, голову уже босикомъ носишь, а въ своемъ успѣхѣ еще не извѣрился, Боло, со мной-ли тебѣ соперничать! . . . — весело пикировалась съ нимъ Римма.

— Ну, что мнѣ Всевышній за мое благонравіе лица прибавляетъ — это ясно, какъ орѣхъ, и нисколько не вредитъ моему ловко налаженному успѣху. Вѣдь каждая женщина охотно къ солнцу тянется! — острилъ всегда веселый, готовый принять участіе въ самыхъ рискованныхъ эскападахъ, Грибскій. Однако его самымъ большимъ

удовольствіемъ бывали минуты, когда кто-нибудь изъ знакомыхъ мужчинъ, повѣрялъ ему о своемъ увлеченіи Риммой и просилъ у него содѣйствія или совѣта, какимъ способомъ можно завоевать расположеніе этой оригинальной женщины.

Тогда Боло придумывалъ самыя невѣроятныя комбинаціи, заранѣе предвкушая отпоръ, который онѣ встрѣтятъ со стороны Риммы и первымъ долгомъ, бѣжалъ ее предупредить о готовящемся покушеніи.

— Для меня мужчины интересны лишь въ профиль, — отшучивалась Римма.

— Я признаю ихъ умъ, талантъ, творчество, которыми они превосходятъ женщину, но en face они для меня безличны и я убѣжденно измѣнила одно слово въ излюбленной тобою, Болеславъ, поговоркѣ: »on revient toujours de ses premières amours«, а потому всѣ попытки вернуть меня на утраченную мною плоскость, лишены всякой надежды. —

— Не говори съ такой увѣренностью, Римма . . . Il arrive par fois, que le singe même — tombe de l'arbre, пророческимъ голосомъ вѣщалъ Bolo.

* * *

. . . Эти слова неожиданно приходятъ въ головку Риммы въ разгаръ ея новой дружбы съ графомъ Брюлловымъ.

Молодой, красивый юноша, мистикъ, много путешествовавшій по Индіи, изучившій тайны Тибета, онъ привлекъ вниманіе Риммы рафинированной глубиной мысли и отвлеченнымъ отношеніемъ къ происходящимъ событіямъ на земномъ шарѣ.

Она часто врывалась къ нему, точно несомая вихремъ . . .

— Опять ты хандришь, Романъ, думаешь, что я тебя отъ твоихъ вопросовъ относительно тайнъ мірозданія отвлекать буду. Ты прикажи мнѣ лучше поѣсть дать; я къ тебѣ прямо изъ театра — голодна какъ волкъ! . . . —

Она садится въ высокое кресло у камина въ ожиданіи ужина. Графъ, растянувшись на коврѣ у ея ногъ, вслухъ фантазируетъ, вспоминаетъ свои впечатлѣнія о путешествіяхъ по спрятаннымъ, священнымъ буддійскимъ храмамъ, окутаннымъ вѣковой тайной . . . О встрѣчахъ съ великими мудрецами, живущими и мыслящими по ту сторону земного бытія . . .

Римма слушаетъ его, запивая виномъ вкусныя блюда, услужливо придвинутыя къ ея креслу старикомъ дворецкимъ и изрѣдка прерываетъ тихій, ласкающій слухъ голосъ графа, реальными замѣчаніями, дѣйствующими на него подобно ушату холодной воды.

— Ахъ, Римма, какъ ты не устанешь, право, такъ ѣсть безъ конца? —

— А тебѣ, что — жаль? Я заплатить могу, Романъ. —

Графъ продолжаетъ мечтать о встрѣчѣ съ чистой, идеальной дѣвушкой . . . Чистой любовью хочетъ онъ смыть грязь прошлой жизни.

— Перестань комарамъ клизмы ставить . . . Чистыхъ дѣвушекъ въ нашъ вѣкъ днемъ съ огнемъ не розыскать, — острить Римма.

. . . Ахъ, какъ онъ красивъ, этотъ Романъ! — думаетъ она.

— Типъ средневѣковаго рыцаря: орлиный взглядъ и вмѣстѣ съ тѣмъ необычайная женственность въ тонкихъ чертахъ лица и движеньяхъ. Какъ-бы вамъ на этотъ разъ не сѣсть въ лужу, Римма!

* * *

Однажды они проводили ночь по своему обыкновенію у камина. Римма пѣла, аккомпанируя себѣ на гитарѣ. Выпитое вино туманило ея мысли, ей пришелъ на память мотивъ романса Дризо — »Искорки пожара«, не пѣтый ею со дня перваго концерта. Подобравъ аккорды она запѣла:

— ». . . Мы встрѣтились случайно такъ и странно
Вы были мнѣ до этихъ поръ чужимъ
И стали вдругъ мнѣ милымъ и желаннымъ
И сердцу одинокому роднымъ.« —

Рыданіе звучало въ ея голосѣ . . . Передъ глазами стоялъ образъ барона Армсгофенъ, ея первой любви, . . . первой разрушенной грезы . . .

А графъ, не отрываясь отъ камина, полулежалъ, закинувъ голову.

У Риммы закружилась голова, она видѣла лишь красныя красивыя губы его женственнаго лица . . .

Бросивъ въ сторону гитару и почти безсознательно влекомая бурнымъ порывомъ, прижалась она къ манящимъ ее губамъ . . .

Это длилось мгновенье — показавшееся ей вѣчностью.

— Оставь, Римма, — вѣдь я не фонарный столбъ въ самомъ дѣлѣ! — . . . пробудили ее его слова, полныя иронической насмѣшки.

. . . Фонарный столбъ! . . . Да . . . да, всегда фонарный столбъ! Слава Богу, что онъ не понялъ моего порыва и я себя уберегла.

— Ты правъ, Романъ. Хочешь я спою тебѣ что-нибудь веселое? —

. . . »Ахъ, шарабанъ мой, да красны сани!« . . .

Громко, удало заискрился ея голосъ. Съ шумомъ открывъ бутылку, она залпомъ осушала стаканъ за стаканомъ ледяное шампанское . . .

* * *

— Какая ты странная, Римма! Твоя душа для меня загадка, — задумчиво, не отрывая своихъ глубокихъ глазъ отъ ея лица, произноситъ графъ.

— Кто создалъ тебя такою — природа, событія . . . или въ тебѣ теплился зародышъ иного начала при рожденіи? . . .

Вѣдь существуютъ планеты отличныя отъ нашей земли съ иными законами, . . . иными формами . . . Земля тяготѣетъ ко злу и рождающіеся на ней люди тщетно стараются воплотить въ своемъ земномъ существованіи проблески воспоминаній той радости, которую они испытывали на иной, болѣе совершенной планетѣ. —

— Надо раскрѣпостить людей, Романъ, предоставить каждому свободную волю, дарованную намъ провидѣніемъ и скованную придуманными людьми законами, предубѣжденіями и боязнью гласности. Дерзающихъ — единицы! —

— И ты принадлежишь къ нимъ, Римма. Этими словами ты хочешь оправдать свои странности . . . Я боюсь — ты ошибаешься; въ тебѣ сквозитъ душевный надрывъ, ты также далека отъ счастья какъ и всѣ смертные обитатели земли. —

Римма подходитъ къ окну, отдергиваетъ тяжелыя драпировки и распахиваетъ его обѣ половинки. Блѣдная, бѣлая ночь постепенно розовѣетъ на горизонтѣ . . .

По ту сторону Невы рельефно выступаютъ красивыя очертанія Петропавловской крѣпости. Во влажномъ воздухѣ пахнетъ сиренью . . .

Утомленное лицо Риммы съ темными синяками подъ глазами кажется мистически безжизненнымъ, при блѣдномъ свѣтѣ весенней сѣверной ночи.

— Почему ты такъ любишь мое общество, Романъ? — прерываетъ молчаніе Римма.

— Мнѣ сейчасъ пришла въ голову мысль — что я служу тебѣ тѣмъ одинокимъ столбомъ въ

полѣ, къ которому такъ охотно прислоняется усталый путникъ. Ему и повѣдать многое можно и поплакать около него . . . Уютный онъ и гладкій, и безчувственный . . . и, право, лучшій другъ. —

Римма подходитъ къ графу и сильно, по мужски, жметъ его руку.

— Такъ-что фонарнымъ столбомъ буду я тебѣ охотно служить впредь, а ты старайся ярко зажигать огонь, чтобы онъ свѣтилъ заблудшимъ женщинамъ — подобно маяку во время морскихъ бурь. —

. . . Римма быстро шагаетъ вдоль набережной. Въ ея рукѣ мужская трость. Она проходитъ мимо оконъ наряднаго особняка, потомъ на минуту задерживается, возвращается обратно и, опираясь о гранитъ, загорающимися глазами, не отрываясь, смотритъ въ окна верхняго этажа со спущенными кружевными занавѣсями . . .

Поспѣшно вынувъ записную книжку, Римма быстро пишетъ карандашемъ слова — si tu m'aimais et si je t'aimais — comme je t'aimerai . . . —

Свертываетъ листокъ и, начертавъ имя адресата, поспѣшно опускаетъ его въ щель ящика для писемъ, вырѣзанный въ дубовой двери подъѣзда . . . Потомъ, она закуриваетъ папироску и посвистывая продолжаетъ свой путь . . .

Берлинъ 1921 г.
Сентябрь.

5.

Въ экспрессѣ.

Эскизъ



. . . Адини уѣзжаетъ на Ривьеру. У нея нервы разстроены; . . . настроеніе часто мѣняется . . . Вся она изнѣженная, хрупкая . . .

Адини счастливая женщина. Она молода, независима, богата.

Съ тѣхъ поръ, какъ она развелась съ мужемъ, послѣ почти десятилѣтней неудавшейся супружеской жизни, она твердо рѣшила, что ни одинъ мужчина больше не будетъ играть роли въ ея жизни, не нарушитъ ея, съ такимъ трудомъ завоеваннаго, спокойствія . . .

Говорятъ: — мужчина хорошъ съ будущимъ, а женщина интересна съ прошлымъ. У Адини было позади это прошлое, полное исканій, разочарованій, борьбы . . . Ея душа была надломлена, вѣра изжита.

Въ догліе зимніе вечера, грѣясь у потухающаго камина, Адини любила уходить въ свое прошлое, бередить въ больной душѣ, но на людяхъ она была неизмѣнно привѣтлива и весела. Она была

утонченно свѣтской женщиной и, подъ холодной маской равнодушія, ловко скрывалась ея нѣжная, ласковая женская душа . . .

Адини любила общество интересныхъ, незаурядныхъ людей. Она умѣла выбирать своихъ друзей и царила среди нихъ, окруженная фиміамомъ отношеній, красивыхъ и воздушныхъ, какъ мечта, неизбѣжно создающихся вокругъ »amitiée amoureuse« . . .

Она никому не показывала предпочтенія, это всѣ знали и это всѣхъ примиряло. Мужчины отдавали ей ту, лучшую часть души своей, стремленіе къ чистому романтизму, къ идеалу, которые живутъ въ душѣ каждаго рядомъ съ чувственной страстью.

Адини была счастлива — она была спокойна и равновѣсіе души своей ставила выше всего.

. . . И вдругъ сгустились тучи . . . Какъ это произошло — Адини не могла понять. Человѣкъ другого круга, обычаевъ, взглядовъ; человѣкъ американской складки, баловень удачи; сильный, стройный, смѣлый во взглядахъ и начинаніяхъ, увѣренный въ себѣ . . .

На Адини проникновенно, смотрѣли его сѣрые, глубокіе глаза . . . и ей казалось, что душа ея передъ нимъ — раскрытая книга . . .

Она негодовала, чувствуя себя рядомъ съ нимъ маленькой, слабой, . . . потерявшейся . . .

Онъ не вѣрилъ. — Какъ, она навѣки рѣшила отказаться отъ радостей жизни, отъ счастья раздѣленной любви, страсти? . . . Это въ ея-то годы разцвѣта женской души! . . .

— Находить удовлетвореніе въ дружбѣ? . . . Да такъ, незамѣтно пройдетъ ея молодость; завянетъ красота . . . Это самообманъ. Поза. —

Онъ такъ просто и безцеремонно назвалъ ее — »кривлякой« и насмѣшливой лаской засвѣтились его глаза . . .

Онъ звалъ ее встряхнуться отъ застоя петербургской свѣтской жизни; звалъ ее на вольный просторъ сибирскихъ степей — посмотрѣть, какъ живутъ здоровые душой люди. Прирожденный сибирякъ, онъ обожалъ свой богатый край.

— Въ Сибири я работаю, а въ Европу пріѣзжаю отдыхать и любить! . . . — говорилъ онъ, шутя.

Онъ звалъ ее въ Сибирь, а Адини уѣзжала на югъ Франціи . . . Она спѣшно собралась, не предупредивъ никого о своемъ внезапномъ отъѣздѣ.

Адини бѣжала . . . Она боялась, . . . боялась утерять свое душевное равновѣсіе!

. . . Адини холодно въ хрустальномъ carosserie автомобиля . . . Ея ножки стынутъ въ теплой медвѣжьей шкурѣ . . .

Въ разукрашенныя инеемъ замерзшія стекла мелькаютъ знакомые дома, улицы . . .

На Варшавскомъ вокзалѣ обычная передъ отходомъ экспресса суета. Снуютъ носильщики; стоятъ группы провожающихъ . . . Адини быстро проходитъ въ свое купэ; купэ ея камеристки рядомъ. Ее никто не провожаетъ; нѣтъ толпы поклонниковъ, друзей . . . Отсутствуютъ цвѣты, обыкновенно наполнявшіе ея купэ ароматомъ вплоть до Вержболова . . .

Стоя у окна въ корридорѣ, Адини улыбается, представляя себѣ всеобщее удивленіе въ связи съ ея внезапнымъ отъѣздомъ.

. . . Сегодня премьера въ балетѣ и ея ложа будетъ блистать ея отсутствіемъ. Она въ это время будетъ сладко спать, закутавшись пушистымъ собольимъ пледомъ, подъ ритмичное покачиваніе вагона . . . Она ни о комъ не будетъ думать и о немъ конечно меньше всего . . .

. . . А интересно знать, что онъ подумаетъ, почувствуетъ, когда не увидитъ ее на ея обычномъ мѣстѣ? . . .

О, она умѣетъ быть сильной, . . . умѣетъ отстаивать свои рѣшенія, взгляды. Борьба — такъ борьба . . . Адини смѣло бросаетъ вызовъ судьбѣ!

Мимо ея окна посыльный проноситъ громадный снопъ ярко красныхъ розъ.

Какъ красиво алѣютъ розы на фонѣ бѣлаго снѣга . . . Кому предназначены онѣ — символъ страсти? . . . Чье сердце загорится при ихъ прикосновеніи? . . .

О, Адини чужда страсти; она не завидуетъ той, которой посланы эти розы . . .

Звучитъ третій звонокъ . . . Поѣздъ медленно, плавно отходитъ.

Въ купэ Адини стучатъ . . . Она машинально отворяетъ. На нее глядитъ хитрое, улыбающееся лицо проводника спальныхъ вагоновъ; онъ произноситъ ея титулъ, фамилію.

— Ну да, это она, зачѣмъ онъ ее безпокоитъ? Что ему нужно? —

Проводникъ быстро уходитъ. Возвращается . . . Въ его рукахъ тотъ букетъ, который только-что пронесли мимо.

— C'est une erreure. . . . растерянно шепчетъ она.

— Mais non, mais non, Madame. —

Адини поспѣшно закрываетъ дверь на замокъ. Она одна. Кровь отлила отъ лица; . . . руки дрожатъ . . . Это онъ прислалъ эти розы, конечно онъ, нарочно, чтобы подразнить ее, но . . . какъ онъ узналъ объ ея отъѣздѣ? . . .

Среди цвѣтовъ что-то синѣетъ.

. . . Письмо. Адини судорожно разрываетъ конвертъ. Ахъ, какъ ей хочется скорѣе узнать, прочесть слова его любви, его страсти . . .

Но, что это? Письмо на французскомъ языкѣ, . . . неразборчивая подпись . . . Адини сразу, всѣмъ существомъ своимъ понимаетъ, что это не его письмо, слѣдовательно, и не его розы . . .

Какое разочарованіе!

Длинное письмо на четырехъ страницахъ, манерное объясненіе въ любви . . .

И отъ кого! . . .

Адини въ негодованіи . . . Мальчишка, пѣвецъ итальянской оперы, котораго она изъ случайнаго каприза взяла подъ свое покровительство, лансировала въ этомъ сезонѣ въ обществѣ.

Какая непростительная дерзость: онъ смѣлъ мечтать о ней, о ея любви!

Адини, въ безсильномъ бѣшенствѣ рветъ, обрываетъ цвѣты. Съ силой ей несвойственной поднимаетъ она примерзшее стекло окна и, измятыя, истерзанныя розы безсильно падаютъ, . . . катятся по занесенному снѣгомъ откосу . . .

Паровозъ быстро мчится, разбрасывая по пути гаснущія на вѣтру искры. Вагоны, мягко покачиваясь, плывутъ . . .

Въ купэ Адини темно. Въ углу дивана еле вырисовывается ея безпомощно приткнутая фигурка.

. . . Платочекъ, мокрый отъ слезъ . . .

А тамъ, въ Маріинскомъ театрѣ, идетъ представленіе . . . Залъ залитъ свѣтомъ . . . Шумно, весело въ антрактахъ. Въ первомъ ряду креселъ стоитъ »Онъ« и, насмѣшливо-удивленно смотритъ въ ея пустѣющую ложу . . .

Въ ушахъ Адини звучатъ слова, сказанныя имъ какъ-то вскользь. — »Бѣгущій отъ себя — бѣжитъ напрасно«. — И, развѣ это не правда? . . . Развѣ она не побѣждена давно, . . . съ первой

встрѣчи, съ перваго взгляда? . . . Развѣ не сладко ей чувствовать себя рядомъ съ нимъ маленькой, слабой, подзащитной? . . .

Непостижимы законы всесильной любви: какъ она нежданно приходитъ, крѣпко держитъ и также внезапно безжалостная уходитъ, оставляя по себѣ разбитыя сердца, навѣки изломанныя жизни! . .

Въ радости рождается — въ горѣ умираетъ! . .

Петроградъ, 1919 годъ.

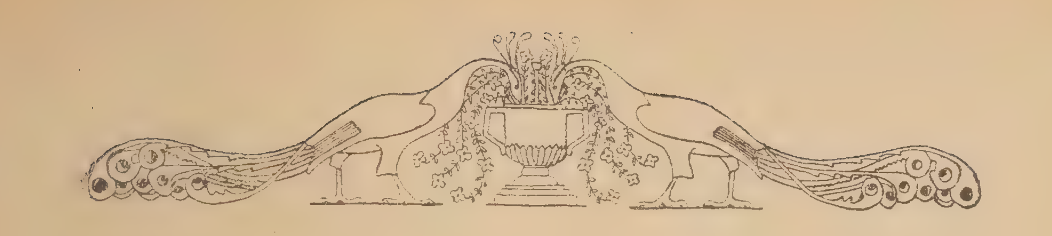


6.

„Valse triste“

Sibelius

Фантазія.



1918 годъ.

— Выпейте вина, это ваше любимое розовое »Moet«, — говоритъ онъ, подвигая мнѣ бокалъ пѣнящейся, душистой влаги, но я упрямо отодвигаю вино и жадно пью воду. Я тщетно стараюсь залить пожаръ, сжигающій фибры моего измученнаго тѣла.

Я чувствую на себѣ его пристальный взглядъ и вызывающе поднимаю глаза. Наши взгляды скрещиваются въ нѣмомъ поединкѣ . . . Что ярче отражается въ нихъ? . . . Ненависть, . . . утомленіе, . . . злоба . . . или заглушенная, обезсиленная, изнемогающая въ борьбѣ — страсть?

Я вижу какъ дрожатъ углы его губъ . . .

Онъ первый отводитъ глаза. Я улыбаюсь, но мои зубы нервно стучатъ о стекло . . . Моя рука неувѣренно ставитъ стаканъ на столъ, точно ей не по силамъ тяжесть тонкаго хрусталя . . .

А рядомъ покачиваются, тѣсно прижимаясь, скользятъ люди, въ нелѣпомъ, движеніи нелѣпаго танца, созданнаго бѣдной фантазіей XX-го вѣка.

Я съ раздраженіемъ слѣжу за ними. Боже! какъ безобразны линіи, некрасивы формы, не-

граціозны движенія! . . . Они танцуютъ подъ всѣ мотивы, не мѣняя темпа. Кавалеръ ведетъ даму — послушно примѣняющуюся къ его движеніямъ.

Какъ рѣдкое исключеніе проносится элегантная, станцовавшаяся пара — движенія которой согласны, легки и свободны и взглядъ, отдыхая, покоится на воздушныхъ силуэтахъ, радуясь, воспринимая красоту ихъ полета . . . А потомъ опять, кривляясь, скачутъ, подпрыгиваютъ сѣрые, сѣрые, полинявшіе, подкрашенные уроды! . . .

Я переношу утомленный взглядъ на оркестръ: оттуда льются звуки чувственной мелодіи, опьяняющіе, электризующіе эти живые манекены.

Посреди ярко красныхъ фраковъ, стройной полоской возвышается фигура дирижера. Усталыя вѣки его глазъ опущены, движенія руки съ приподнятой палочкой вялы и безнадежны! . . .

Мой упорный, пристальный взглядъ пробуждаетъ его. Онъ нервно вздрагиваетъ, . . . выпрямляется. Безпокойные глаза ищутъ, напрягаясь, причину, вызвавшую ихъ изъ инертнаго покоя. Слившись съ моими, они успокаиваются.

— Мертвый человѣкъ, оживись, разбуди взмахомъ палочки, зажги толпу . . . Вызови улыбку на застывшихъ чертахъ этихъ, утонувшихъ въ маленькихъ будничныхъ интересахъ, людей . . . Раздуй пламя ихъ душъ, . . . дай имъ возможность хоть на мгновеніе подняться отъ земли, . . . раздѣлить восторги небесъ! . . . —

И, точно внявъ гипнозу легкомысленнаго, шаловливо промчавшагося духа, на лету перехватившаго мою мысль, дирижеръ на половинѣ такта

останавливаетъ оркестръ; наклоняется къ скрипачу . . . переворачиваетъ ноты и съ серьезнымъ, строгимъ лицомъ взмахиваетъ руками.

Льются звуки . . .

Танцующіе тщетно стараются согласовать свои движенія со странной, неожиданно избранной дирижеромъ, мелодіей. Ихъ па все болѣе неувѣренны, неловки . . .

А онъ, точно издѣваясь, то ускоряетъ, то замедляетъ темпъ.

Жалобно стонетъ скрипка, . . . ей тоскующе вторитъ віолончель. Танцующіе, постепенно расходятся въ недоумѣніи.

Я напрягаю память, . . . стараюсь вспомнить эту знакомую, гдѣ-то, когда-то слышанную мелодію . . . Порою страстная, . . . порою скорбная, издѣвательски насмѣшливая . . . Смѣхъ сквозь слезы, . . . рыданіе надъ разбитыми мечтами . . . Вопль отчаянія! »Valse triste« Sibelius 'а . . . Вальсъ страсти, — вальсъ смерти.

Медленно, глухо замираютъ послѣдніе аккорды . . .

Какъ совпадаютъ они съ моимъ настроеніемъ! . . . Эта мелодія разрядила сгущенную тяжесть въ моей душѣ. Мнѣ весело . . . Мнѣ хочется смѣяться, . . . смѣяться! . . .

Я ловлю истерическую гримасу на перекошенномъ лицѣ дирижера.

— За ваше счастье, за ваше благополучіе, за вашъ отъѣздъ, — говорю я Юстину поднимая бокалъ. Вино обжигаетъ мои губы.

— Это ваши послѣднія слова? —

— Или все — или ничего . . . Всего, вы мнѣ дать не можете, слѣдовательно — ничего. —

Онъ уѣхалъ въ эту ночь на разсвѣтѣ . . . Онъ никогда не узналъ, какъ безумно, какъ страстно онъ былъ мною любимъ . . .

Я его потеряла навѣки . . .

1919 годъ.

. . . Холодно. Нетопленный залъ . . . Мебель въ чехлахъ . . . Угрюмые портреты предковъ надменно смотрятъ со стѣнъ.

. . . Льются скорбные звуки изъ подъ моихъ леденѣющихъ пальцевъ . . .

Грустный, похоронный вальсъ . . . Вальсъ разрушенія, . . . вальсъ отчаянія, . . . вальсъ Сибеліуса. Имъ вторитъ вопль моей усталой души.

1919 —ый годъ! Годъ ужаса! . . . Праздникъ дьявола! . . . Безконечный хороводъ смертниковъ! . . .

Вся великая страна уподобилась залѣ, гдѣ, по истерическому капризу дирижера съ сатанинской улыбкой, люди, измученные страхомъ насилія, напрасно стараются согласоваться съ темпомъ, не созданнымъ для жизни.

Они скачутъ, извиваются въ судорогахъ, . . . падаютъ изнемогая; тонутъ въ крови, безъ выхода, . . . безъ просвѣта! . . .

Огненнымъ кольцомъ окружена безконечная зала и надъ ней паритъ рука дирижера съ сатанин-

ской улыбкой. Фраки въ оркестрѣ окрашены кровью . . . Жалобно стонетъ скрипка, . . . ей тоскующе вторитъ віолончель: ихъ вопль заглушаетъ дробный звукъ барабана! . . .

. . . .

. . . Гулко звучатъ шаги . . . Чья-то нервная рука дергаетъ дверь. Передо мной — высокій, блѣдный человѣкъ въ черной кожанной одеждѣ. Красная звѣзда алѣетъ на его груди.

Мы, молча, встрѣчаемся ежедневно и, молча, расходимся . . . Я избѣгаю жуткаго взгляда его большихъ, мрачно сверкающихъ изъ подъ свинцовыхъ вѣкъ, глазъ.

Кто онъ и откуда? . . .

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ поселился здѣсь, я подъ его надежной защитой. Меня не безпокоятъ ночные обыски, . . . не пугаетъ боязнь ареста, но мнѣ страшенъ зловѣщій огонь его глазъ, . . . онъ волнуетъ меня . . .

. . . .

— Моя маленькая, . . . моя маленькая, — шепчетъ онъ, опускаясь передо мной на колѣни. — Я люблю тебя! . . . —

Какой нѣжной лаской свѣтятся его глаза . . . Трепетно соприкасаются его руки съ моими . . .

Какъ породисты онѣ, эти маленькія, стройныя руки. Онѣ носятъ печать культуры ряда поколѣній.

Чью тѣнь великихъ, давно исчезнувшихъ въ мракѣ прошедшаго, напоминаетъ его чеканный профиль? . . .

— Кто вы? . . . —

— Ты хочешь знать мое имя? Я самъ не знаю его . . . Мое имя — оно такъ часто мѣнялось . . . Разъ помню въ дѣтствѣ, я слышалъ ужасное слово, . . . оно было моимъ настоящимъ названіемъ.

— Я увидалъ свѣтъ подъ заборомъ и колыбелью мнѣ служила крапива . . . Это я знаю.

— Жизнь моя протекала сурово, . . . въ борьбѣ, . . . въ оскорбленіяхъ . . . Ласки, любви я не зналъ, у меня къ женщинамъ было презрѣніе . . . —

— Тебя полюбилъ я давно, но межъ нами — пропасть была непреодолима . . . Я мечталъ о тебѣ долгіе годы. Ты была королевой моей сказки — сотканной грезой.

— Обними меня крѣпче; я согрѣю тебя въ моихъ сильныхъ объятіяхъ . . . и жизнь отдамъ за тебя безъ колебаній! —

. . . Его голосъ — бархатъ, онъ обвиваетъ мою душу. Мои глаза смыкаютъ горячіе поцѣлуи . . . Его ласка — забвеніе! . . .

Отвернитесь знатные предки, . . . покройтесь пылью вѣковѣчья. Сегодня дьяволъ вѣнчаетъ вашу правнучку съ плебеемъ безъ имени, . . . безъ рода . . .

Ну, попадай-же въ тактъ больное сердце . . . Танцуй непривычный, чуждый тебѣ плясъ — отреченья отъ старыхъ традицій . . .

. . . .

Льются звуки свадебнаго вальса . . . Вальса насмѣшки, . . . вальса ироніи, . . . вальса зловѣщаго предостереженія . . .

1920 годъ.

. . . Блѣдная іюньская ночь медленно ползетъ, постепенно, розовѣя.

Я сижу у окна. Моя отяжелѣвшая отъ безсонной ночи голова покоится на сложенныхъ рукахъ.

Я прислушиваюсь . . . Издалека доносятся звуки рояля . . . Кто-то не спитъ въ эту душную лѣтнюю ночь. Кто-то утишаетъ тоску звуками . . .

Аккорды замираютъ и раздаются вновь . . .

Опять знакомый, любимый вальсъ настроенія!

Издали слышится грохотъ орудій и радостнымъ эхомъ отдается въ сердцѣ.

. . . Скоро . . . скоро придемъ. . . . скоро, . . . скоро конецъ, слышится въ отзвукахъ рвущихся снарядовъ.

. . . Скоро . . . скоро, . . . чирикаютъ веселые воробьи привѣтствуя восходящее солнце.

. . Скоро . . скоро, . . обѣщаютъ набѣжавшія, шаловливыя тучки — предвѣстники бури . . .

. . . Гдѣ онъ, любимый?

Онъ совершаетъ подвигъ героя. Моей любви достойный — рискуетъ своей жизнью. Онъ — центръ заговора . . . Конецъ дѣла близокъ. Съ минуты на минуту я ожидаю услышать шумъ взрыва . . .

Ахъ, вотъ онъ раздается вдали, . . . наконецъ-то, . . . но только короткій, сливаясь съ послѣднимъ аккордомъ рояля.

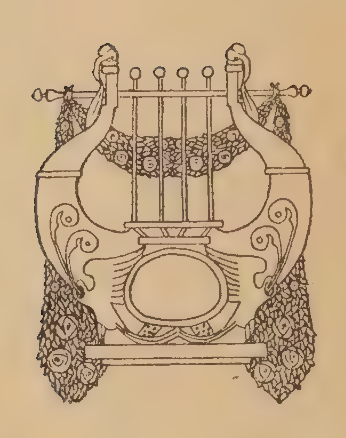
. . . Ужель неудача! . . .

. . . .

Онъ лежитъ безъ дыханія на столѣ, среди зала. Лицо опалено. Узнать его трудно. Разсыпалась сказка! . . . Вмѣсто красной звѣзды на груди его — бѣлая роза. Я ее положила безъ словъ, . . . безъ рыданій . . . Пусть спитъ онъ спокойно.

. . . Я опять одинока.

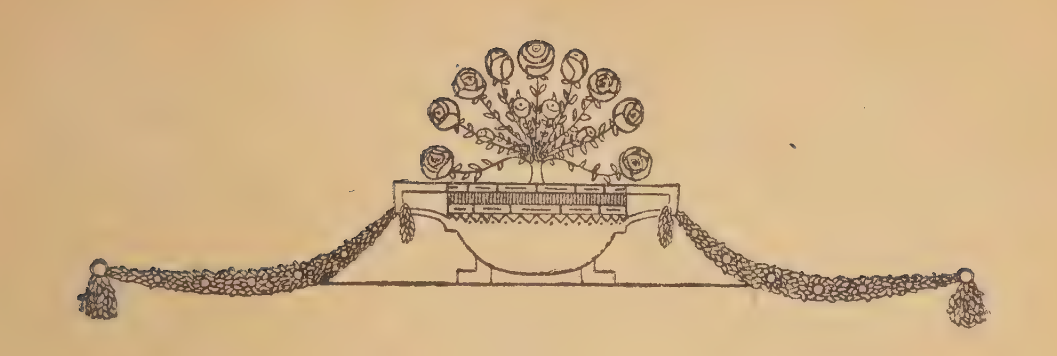
Берлинъ. Августъ 1921 годъ.



7.

Власть воспоминаній.

(Посвящается Н. А. Л.)



— Марго, Маргарита Павловна! . . . Вы! . . . Вотъ не ожидалъ, что подъ незнакомой мнѣ фамиліей — Рансбахъ, скрывается такой милый, старый другъ. —

Ордежинъ попеременно цѣловалъ протянутыя ручки Маргариты. Его ласковый взглядъ пробѣжалъ по ея лицу и красивой, крупной фигурѣ въ темномъ костюмѣ.

— Все такая же вы красавица и даже, въ нашемъ вынужденномъ бѣженствѣ, сохранили кашэ прежнихъ, счастливыхъ лѣтъ. —

— Ну еще-бы, вѣдь мы, русскія женщины, всегда остаемся женственными даже въ самыхъ невѣроятныхъ условіяхъ . . . А что я не поблекла, это я въ вашихъ глазахъ читаю, Платонъ Андреевичъ и вы себѣ представить не можете, какъ радостно мнѣ это сознаніе . . . Вѣдь для меня — потерять внѣшность, значитъ сложить оружіе и исчезнуть съ горизонта возможностей! . . . —

— Эта опасность вамъ еще не угрожаетъ, — шутилъ Ордежинъ, подвигая Маргаритѣ кресло и занимая свое привычное мѣсто у письменнаго стола, напротивъ.

— Когда я получилъ ваше короткое письмо съ сообщеніемъ, что хорошо мнѣ знакомая госпожа Рансбахъ проситъ назначить ей день и часъ для визита, я было растерялся; . . . вспоминалъ и не могъ припомнить, гдѣ я слышалъ эту фамилію . . . —

— А потому и рѣшили принять меня офиціально въ дѣловой конторѣ . . . Вы неизмѣнны. Платонъ Андреевичъ; ваша осторожность не даромъ вошла въ поговорку. Я нарочно хотѣла васъ поинтриговать . . . Видите-ли, я вышла замужъ — . . . нерѣшительно, дрогнувшимъ голосомъ произнесла Маргарита.

— Замужъ? — Ордежинъ удивленно поднялъ глаза на свою собесѣдницу; въ нихъ отражалось такое глубокое изумленіе, что смущеніе Маргариты смѣнилось звонкимъ смѣхомъ.

— Чему вы удивляетесь: моей ли глупости, или смѣлости человѣка, рѣшившагося на такой рискованный поступокъ? —

— Я не удивляюсь, Марго, — мягко отвѣтилъ Ордежинъ, незамѣтно по привычкѣ, переходя въ фамильярный тонъ. Но, . . . я какъ-то не представляю себѣ васъ, такую свободолюбивую, замужемъ. Вы вѣдь такъ рѣшительно отвергали всѣ блестящія предложенія на вашемъ неудержимо веселомъ, шумнымъ потокомъ бѣгущемъ, жизненномъ пути. —

— Безъ задерживающихъ центровъ! — засмѣялась она, вынимая папироску и нервно закуривая.

— Жизнь поставила этому потоку на дорогѣ плотину. Не выдержитъ плотина — потокъ прорветъ и смоетъ ее съ пути . . .

— А онъ хорошій, . . . отъ большевиковъ меня спасъ, . . . своею грудью защитилъ тогда, послѣ эвакуаціи французами Одессы. —

Легкая тѣнь пробѣжала по лицу Маргариты. Оживленное выраженіе ея тонкаго, выразительнаго лица сдѣлалось сразу какъ-то строже, мягче и старше. Еле замѣтныя складочки подъ сѣрыми, искусно подведенными, глазами выступили наружу и скорбная, страдальческая улыбка измѣнила насмѣшливую линію рта. Портсигаръ выскользнулъ изъ ея рукъ и мягко стукнулся о коверъ.

Ордежинъ наклонился . . . На его мгновенно вспыхнувшемъ лицѣ отразилось волненіе.

Онъ близко поднесъ эту художественную бездѣлушку къ своимъ близорукимъ глазамъ и краска постепенно уступила мѣсто сильной блѣдности.

Ушедшая въ свои воспоминанія Маргарита перевела глаза и, поймавъ взволнованный взглядъ Ордежина, усмѣхнулась и, какъ-то нехотя роняя слова, проговорила:

— Узнали? Вамъ этотъ портсигаръ о прошломъ, о вашемъ прошломъ напомнилъ . . . Анну Львовну вспомнили? Мы съ ней въ Одессѣ время коротали . . . Такая видно наша судьба: вмѣстѣ въ золотѣ купались — вмѣстѣ и горе дѣлили.

— А знаете, что Анна Львовна сказала . . . О комъ она вспомнила въ ту ночь, когда мы съ

ней голодныя, въ темной нетопленной комнатѣ, сидѣли въ ожиданіи, что вотъ-вотъ ворвется пьяная большевистская орда въ дикомъ разгулѣ побѣдителей . . .

— »Гдѣ то теперь Тося? . . . Его одного я въ жизни любила . . . Только его одного«! . . . —

Маргарита замолкла. Въ сгустившихся сумеркахъ она не видѣла лица Ордежина. Нѣсколько минутъ они оба молчали . . .

Очнувшись отъ захлестнувшей его мысли волны воспоминаній, Ордежинъ всталъ и, желая разсѣять неловкость воцарившагося молчанія, повернулъ кнопку выключателя.

Маргарита заторопилась домой. Ея нервы требовали покоя. Электрическій свѣтъ раздражалъ ее своей яркостью, . . . нарушалъ полетъ обступившихъ призраковъ. Ее потянулъ на улицу сумракъ надвигавшейся прохладной весенней ночи.

Ордежинъ не удерживалъ Маргариты, ему также захотѣлось одиночества. Его охватила грустная торжественность настроенія, обыкновенно такъ остро переживаемая, по возвращеніи съ панихиды по нѣкогда любимомъ, отошедшемъ въ вѣчность, близкомъ человѣкѣ.

Проводивъ Маргариту, онъ медленно, разшатанной походкой, возвратился въ кабинетъ; отдалъ приказаніе не принимать болѣе посѣтителей и механически сѣлъ къ письменному столу.

Ордежинъ попробовалъ было разобрать ворохъ приготовленныхъ для подписи бумагъ текущаго дня, но быстро поймалъ себя на мысли что его мозгъ не усваиваетъ прочитаннаго и что глухая

сердечная боль, вызванная словами Маргариты, разростается, разгарается и заливаетъ жгучимъ ядомъ всѣ фибры его существа.

Онъ порывисто всталъ и нервно зашагалъ вдоль и поперекъ комнаты. Случайно его взглядъ остановился на только-что покинутомъ Маргаритой креслѣ; онъ машинально направился къ нему и, удобно въ немъ расположившись, отдался воспоминаніямъ . . .

Картины молодыхъ лѣтъ быстро мелькали, смѣняя другъ друга въ яркомъ движеніи мысли . .

. . . .

Ордежинъ попалъ какъ-то, послѣ дѣлового обѣда у Медвѣдя, на маскарадъ въ Маріинскомъ театрѣ. Онъ не любилъ эти шумныя, безцѣльныя развлеченія. Узкія лаковыя ботинки жали ноги и настроеніе у него было самое скверное . . .

Разсѣянно-равнодушно скользилъ онъ по текущему мимо него людскому потоку.

У зеркала рядомъ, на мгновеніе задержалась дама. Она поправляла маску. Нечаянно откинувшееся при движеніи ея рукъ домино обнаружило глубокій вырѣзъ платья. Большая, круглая, темная родинка низко на груди мелькнула, притянувъ вниманіе Ордежина и, мгновенно, исчезла въ волнахъ шантильи . . .

Точно электрическій токъ пробѣжалъ по всему его существу . . . Онъ забылъ свою недавнюю скуку, узкіе ботинки . . . . Ему безумно захотѣлось вновь, хоть на мигъ, взглядомъ поймать это темное пятнышко на бѣломъ атласѣ молодого женскаго тѣла . . .

Незнакомка, точно угадывая его желаніе, распахнула домино и, граціозно обмахиваясь вѣеромъ, улыбнулась ему улыбкой сфинкса изъ подъ чернаго бархата полумаски . . .

Случайная маскарадная интрига оказалась роковой. Ордежинъ увлекся Анной Львовной съ силой первой безудержной страсти . . . Всѣ чувства, дремавшія подъ спудомъ при его занятой дѣловой жизни, пробудились стихійно . . .

Онъ не задумывался, насколько подходящимъ объектомъ для такой любви являлась Анна Львовна, легкомысленное существо, искавшее въ свободной, сумбурной жизни лишь веселыхъ, яркихъ красокъ.

Хотѣла-ли она сама привязанности глубокой и прочной? Ея мысль на этомъ вопросѣ никогда не задерживалась.

Анна Львовна была влюблена въ свою яркую красоту. Она знала силу обаянія своей внѣшности и это сознаніе придавало надменную осанку ея стройной, плоской, мальчишеской фигурѣ.

Природный тактъ замѣнялъ отсутствовавшее образованіе. Анна Львовна умѣла во время молчать и никогда не вмѣшивалась въ недоступный для нея разговоръ.

Ея спокойное достоинство восхищало Ордежина. Она не утомляла его философствованіемъ; онъ молчаливо отдыхалъ въ ея обществѣ отъ суеты дѣлового дня.

Ордежинъ хотѣлъ Анусю для себя, для себя одного. Ему казалось, что подъ его вліяніемъ она становится серьезной, что ея былыя развлеченія,

прежнія пріятельницы и поклонники исчезли изъ ея кругозора. Онъ обѣщалъ на ней жениться.

О! Какъ онъ ошибался . . .

Оттороженная высокой стѣной его любви отъ привычной суеты, Ануся скучала. Какъ молодое растеніе, внезапно пересаженное въ чужую почву, она съ трудомъ привыкала къ тихой семейной обстановкѣ. Того, что Анна Львовна съ виртуозной хитростью пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы его обмануть, Ордежинъ не подозрѣвалъ . . .

У него была страсть къ охотѣ и въ тѣ часы, которые онъ проводилъ за чертой города, Ануся широко пользовалась своей свободой . . .

. . . .

Ярко запечатлѣлся въ памяти Ордежина день, перевернувшій до основанія всю его жизнь. Это было за завтракомъ въ Европейской гостиницѣ: въ Петербургъ пріѣхалъ другъ его дѣтскихъ игръ Суховъ, съ которымъ его связывали узы долголѣтней дружбы. Суховъ жилъ обычно заграницей и только изрѣдка пріѣзжалъ въ Россію.

Услыхавъ имя Анны Львовны, онъ не могъ скрыть своего удивленія.

— Хорошо-ли ты знаешь свою невѣсту и вполнѣ-ли ты увѣренъ, что она серьезно относится съ твоимъ намѣреніямъ? —

— О да, я люблю Анусю три года и она отвѣчаетъ мнѣ горячей взаимностью. —

— Ты ошибаешься, Платонъ. Мой долгъ предупредить тебя, пока не поздно. Ты можешь любить Анну Львовну, но на такихъ не женятся

люди твоего круга и взглядовъ, — отчеканивая слова, произнесъ Суховъ.

Ордежинъ вспыхнулъ, его смутилъ тонъ рѣчи пріятеля. Засосалъ червь подозрѣнія . . . Онъ попробовалъ было залить его виномъ, но это не помогло.

Ордежинъ вернулся домой сумрачный и сталъ наблюдать за Анусей. Она была по обыкновенію ласкова и весела; ничто не нарушало ея привычной спокойной повадки. Глаза ея большіе, . . . большіе, правдиво улыбались ему навстрѣчу.

— Скажи, Ануся, ты любишь меня? . . . Ты не измѣнишь мнѣ? — упавшимъ голосомъ спросилъ Ордежинъ, крѣпко сжимая ее въ объятіяхъ.

— Люблю только тебя и никогда тебѣ не измѣню, Тосикъ, — отвѣтила она, освобождаясь изъ его рукъ и поправляя пышную прическу.

Ордежину стало смѣшно при воспоминаніи о словахъ Сухова. Ему захотѣлось сейчасъ-же разсказать обо всемъ Анусѣ, попросить у нея прощенія за свое недовѣріе и сбросить навалившуюся на сердце тяжесть . . . Его удержало чувство подсознанія . . .

. . . .

Наканунѣ обычной поѣздки на охоту, Ордежинъ, чувствуя особенную нѣжность къ Анусѣ, исполнилъ ея завѣтную мечту и отдалъ ей свой свадебный подарокъ — крупныя серьги-шатоны.

Онъ наслаждался ея радости, блеску ея глазъ, соперничавшихъ съ брилліантами. Ануся нѣжно ластилась къ нему и горячо отвѣчала на его ласки.

Ордежинъ уѣхалъ спокойный. Что могла искать его Ануся на сторонѣ? . . . Вѣдь, она жила въ полномъ довольствѣ, окруженная баловствомъ, безграничнымъ вниманіемъ!

Охота не клеилась . . . Толстый заяцъ близко перебѣжалъ ему дорогу; ружье два раза дало осѣчку; наконецъ, собака повредила ногу.

Настроеніе Ордежина испортилось. Онъ не дождался, какъ обыкновенно, понедѣльника и уѣхалъ съ вечернимъ поѣздомъ обратно въ городъ.

Было около полуночи, когда онъ звонилъ у парадной. Ему открыла дверь заспанная горничная, удивляясь его внезапному возвращенію.

Ордежинъ быстро прошелъ съ спальню. Кровать стояла нетронутой; Ануси не было дома.

Глухая боль тяжелымъ предчувствіемъ сжала его сердце. Рой подозрѣній, бѣшенство, ревность, . . красньімъ туманомъ застилали мысли . .

Медленно ползли минуты, . . . проходили часы смѣняя другъ друга . . . Стрѣлка стояла уже на четырехъ утра, а Ануси все не было. Опустивъ голову на спинку кресла, Ордежинъ зарыдалъ.

Это были его первыя мужскія слезы . . .

Онъ стоялъ у окна, обезсиленный волненіемъ, осунувшійся и постарѣвшій за эту долгую ночь.

Забрезжилъ мутный утренній разсвѣтъ. Улица постепенно просыпалась. Спѣшили запоздалые автомобили. Который изъ нихъ долженъ былъ привезти Анусю? . . .

Всѣ они скользили мимо . . .

Наконецъ, таксомоторъ остановился у подъѣзда. Ордежину показалось, что чья-то тяжелая рука схватила его за сердце . . .

Изъ автомобиля вышелъ высокій, стройный молодой человѣкъ въ гвардейской формѣ и, опираясь на его руку, выпорхнула Ануся.

Они обмѣнялись послѣднимъ привѣтствіемъ. Уланъ, не спѣша, закурилъ сигару и сѣлъ въ моторъ, быстро умчавшій его по безлюдной улицѣ.

Не дожидаясь звонка, Ордежинъ отворилъ Аннѣ Львовнѣ дверь. Увидавъ его перекошенное отъ страданія лицо, она сразу поняла, что ея дѣло проиграно и не пробовала оправдываться.

Съ побѣлѣвшихъ губъ Ордежина сорвалось ужасное оскорбленіе . . .

Анна Львовна выпрямилась точно подъ ударомъ хлыста . . . Ея горделивая осанка, надменное выраженіе разгоряченнаго виномъ личика возмутили Ордежина до глубины души. Безсвязно выкрикивая слова, онъ повторилъ слова Сухова:

— »На такихъ не женятся.« —

Они разстались сухо, — чужими. Трехъ лѣтъ совмѣстной жизни точно не существовало.

. . . .

Ордежинъ блуждалъ полъ года по моднымъ курортамъ заграницы. Онъ искалъ забвенія въ шумномъ вихрѣ развлеченій . . . и не находилъ его.

Порой ему хотѣлось, закрывъ глаза, вернуться къ прошлому, забыть, простить, помириться съ Анусей, но сила разума побѣждала голосъ сердца.

До него доходили слухи, что Анна Львовна вернулась къ прежней жизни, окружена роскошью

и блескомъ, . . . мѣняетъ свои привязанности, не задерживаясь по долгу.

Громкая слава бѣжала за ней . . . О ея чудачествахъ и жестокости, съ поторой она разоряла поклонниковъ, ходили легенды.

— »На такихъ не женятся — такъ пускай разоряются«, — стало ея девизомъ.

Разъ какъ-то, по возвращеніи въ Петербургъ, Ордежинъ, случайно, столкнулся съ Анной Львовной у подъѣзда ресторана. Она выходила изъ своего новаго, роскошнаго автомобиля. Въ ея ушахъ сверкали серьги, подаренныя имъ въ памятный вечеръ, предшествовавшій ихъ разрыву.

Похудѣвшее личико Ануси было красивѣе прежняго. Она узнала его. Мгновенно смутилась, растерялась, . . . но быстро оправилась; радостно подбѣжала къ нему и крѣпко схватила его за руку.

— Тосикъ, милый, неужели-же ты меня совсѣмъ, совсѣмъ забылъ и знать больше не хочешь? . . . Вѣдь друзьями мы все-же остаться можемъ, — просительно зазвенѣлъ ея голосъ, такъ близко — рядомъ, что у Ордежина захватило дыханіе.

Онъ не отказалъ ей въ ея настойчивой просьбѣ. Что руководило нмъ? Какое чувство побудило его переступить порогъ такой милой по пережитымъ воспоминаніямъ квартиры, гдѣ все стояло на старыхъ мѣстахъ, точно ничто не измѣнилось въ ихъ жизни? . . .

Ордежинъ силой воли подавилъ волненіе и ничѣмъ не выдалъ своихъ переживаній. Попытка Ануси воскресить иллюзію ихъ былыхъ отно-

шеній разбилась о его холодную сдержанность . . . Она покорилась изъ боязни потерять его безвозвратно. У нихъ установились дружескія, сердечныя отношенія. Личную жизнь Ордежинъ искустно скрывалъ отъ любопытства толпы. Онъ былъ прирожденнымъ однолюбомъ и ни одна женщина не заняла въ его сердцѣ мѣста, опустошеннаго Анусей.

. . . .

Шли годы. Вспыхнула война, . . . ее смѣнила революція, заставшая Ордежина заграницей. Онъ удачно устроился съ помощью Сухова, имѣвшаго большія связи въ промышленномъ мірѣ Европы. Ордежинъ былъ поглощенъ своимъ дѣломъ. Думать, создавать новое счастье — ему было некогда . . . Образъ Анны Львовны, иногда выплывалъ изъ тумана прошедшаго, . . . а теперь эта неожиданная встрѣча съ Марго! . . .

Ордежинъ былъ глубоко потрясенъ ея послѣдними словами . . . Они внезапно открыли потайной клапанъ въ его душѣ и старое, притаившееся чувство съ неудержимой силой хлынуло наружу, залило его мозгъ, его сердце, палящимъ огнемъ тоски и безграничной боли.

. . . Анусябаг Она вспомнила о немъ въ острыя минуты страха передъ грядущимъ, когда спадаетъ лишняя шелуха съ души . . .

»А гдѣ-то теперь Тося? . . . Его я въ жизни одного любила« . . . —

Ордежинъ спряталъ лицо въ руки . . . Ему ясно представился образъ любимой женщины . . . Ея блѣдное личико съ большими, . . большими, . .

широко раскрытыми, обвѣянными испугомъ глазами . . .

О! какъ хотѣлось-бы ему сейчасъ видѣть, чувствовать ее рядомъ съ собой; согрѣть, приласкать какъ маленькаго, беззащитнаго ребенка . . .

Анна Львовна съ ея надменной осанкой королевы, . . . женщина безъ души и нервовъ для толпы — въ его присутствіи становилась человѣкомъ, мягкимъ, ласковымъ и добрымъ. Она къ нему тянулась, какъ къ солнцу, грѣясь въ лучахъ его большой, свѣтлой души.

Ордежинъ только теперь понялъ, какъ нелѣпо онъ устранилъ эту — единственную — въ его жизни женщину. Годы проходили, уходили безъ оттѣнковъ, безъ радости, . . . безъ личной цѣли.

Страсть линяетъ, утомленная напряженіемъ, стихаетъ; любовь, привязанность, привычка, съ годами сростаются и развѣтвляютъ корни.

— »Les arbres coupés — reverdissent plus beaux«, — вспоминались ему слова Сухова, сказанныя при встрѣчѣ здѣсь заграницей.

Да, но когда срѣзана верхушка — сердце дерева засыхаетъ, подумалъ Ордежинъ съ грустью и перемѣнилъ непріятную для обоихъ тему разговора.

Сухову онъ обязанъ своимъ настоящимъ относительнымъ благополучіемъ, — ему, укравшему у него тѣ двѣ теплыя, нѣжныя ручки, которыя обвились-бы сейчасъ, въ минуту тоски, вокругъ его шеи и мягкіе, душистые волосы, обвѣвавшіе нѣкогда его утомленный отъ думъ лобъ . . .

. . . Было поздно. Ордежинъ надѣлъ пальто; заперъ дверь французскимъ ключемъ; привычнымъ движеніемъ провѣрилъ замокъ и, медленно, пошелъ по направленію своего жилища, гдѣ никто его не поджидалъ, . . . никто не радовался его возвращенію . . .

Весенняя свѣжая ночь дышала ароматомъ распускающейся листвы. Вдоль домовъ, въ восточной части Берлина, на зеленѣющемъ узкой полоской газонѣ, тихо распускались большіе блѣдно-розовые цвѣты магнолій на деревьяхъ, еще лишенныхъ листьевъ . . .

Недалеко, — въ саду нарядной виллы пѣлъ соловей . . . Ему вторила проснувшаяся отъ сна природа.

. . . Разставшись съ Ордежинымъ, Марго поѣхала въ Тиргартенъ. Ее также неудержимо повлекло остаться наединѣ со своими мыслями.

Отпустивъ такси, она пошла по направленію къ озеру . . .

Встрѣча съ Ордежинымъ разбередила тоску по родинѣ, по ушедшимъ красивымъ днямъ, когда легко и свободно кипѣла нарядная жизнь въ быломъ Петербургѣ съ такими чуждыми, непонятными европейцамъ замашками барской шири и размаха . . .

Маргарита вспоминаетъ себя маленькой, веселой дѣвочкой . . . Она живетъ у бабушки съ дѣдушкой въ большомъ имѣніи, въ окрестностяхъ Пскова.

Конца края нѣтъ баловству!

Бабушка съ нея, буквально, пылинки сдуваетъ, а дѣдушка, хотя и частенько поваркиваетъ — самъ не прочь доставить Ритѣ удовольствіе.

Она — любимая внучка и пребѣдовая! . . Не это-ли и служитъ причиной любви стариковъ?

Ея звонкій голосокъ оживляетъ дремотные покои стариннаго дома; . . . веселый смѣхъ будитъ воспоминанія о распускавшейся когда-то здѣсь юности ряда поколѣній.

. . . Жаркій лѣтній день . . . Ритѣ скучно. Куклы надоѣли . . . Любимой она вытянула ручку съ досады, у другой отвалились волосики, — должно-быть отъ жаркаго солнца . . .

На столѣ въ буфетной сушатся пробки. Бабушка собирается разливать наливку. Рита очень любитъ наливку. Ежегодно, на именины дѣдушки, она получаетъ маленькую, узенькую рюмочку.

Скоро-ли эти именины?

Уже отцвѣлъ жасминъ, а въ прошломъ году, Рита это хорошо помнитъ, она подарила дѣдушкѣ большой букетъ этихъ цвѣтовъ и прочла ему стихотвореніе, выученное къ такому торжественному дню.

. . . Пробки опять привлекаютъ ея вниманіе. Онѣ стоятъ рядками еще мокрыя, толстенькія.

Рита щелкаетъ пальцемъ по самой большой . . . Пробка стремглавъ, кувыркомъ летитъ черезъ окно

на дворъ, гдѣ дремлетъ старый Барбоска, отмахиваясь отъ мухъ.

. . . Ахъ, какъ смѣшно и забавно!

Барбоска испугался и отбѣжалъ въ сторону.

— Стрѣляютъ, Барбоска, спасайся! . . . —

Градъ пробокъ, напутствуемый щелчками, летитъ ему вдогонку. Ахъ, какъ жаль, что ихъ такъ мало! . . . Всѣ вылетѣли въ окошко! . . .

Рита съ невиннымъ лицомъ идетъ къ дѣдушкѣ въ кабинетъ. Онъ куритъ пенковую трубку, въ глубокомъ креслѣ у окна.

. . . Съ балкона виденъ садъ. У фонтана старый садовникъ Михѣй черпаетъ лейкой воду; онъ собирается поливать цвѣты на узорчатыхъ клумбахъ.

. . . Рита садится рядомъ съ дѣдушкой на широкій диванъ съ книжкой въ рукахъ и исподлобья слѣдитъ за Михѣемъ. Она любитъ цвѣты больше всего на свѣтѣ и радуется, что ихъ сейчасъ напоитъ старый Михѣй, а потомъ они заснутъ и будутъ нашептывать другъ другу сказки . . . Рита часто вечеромъ ходитъ слушать ихъ шопотъ; она разговариваетъ съ ними, . . . нѣжно цѣлуетъ ихъ чашечки. Рита никогда не рветъ и не топчетъ цвѣтовъ; она знаетъ — имъ вѣдь тоже больно. —

— Что-это вы, сегодня такая паинька, внучка, — шутливо ворчитъ дѣдушка, набивая трубку.

Рита опускаетъ глазки. До ея чуткаго слуха долетаютъ изъ буфетной охи и восклицанія разсерженной бабушки. Ея шалость обнаружена, но она уже придумала: . . . это шалунъ — вѣтеръ разметалъ пробки . . .

Дѣдушку обмануть трудно.

. . . Вѣтеръ? — повторяетъ онъ строго и снимаетъ съ крючка собачью плетку.

Рита въ испугѣ прячется въ широкихъ складкахъ бабушкиной юбки.

— Что ты, опомнись! Поднять руку на ребенка! —

Дѣвочка разражается громкимъ плачемъ и, бабушка забываетъ о своихъ пробкахъ и разлитой уже въ бутылки наливкѣ . . . Она утѣшаетъ любимую внучку и . . . согласна, что пробки разметалъ шалунъ вѣтеръ . . .

Маргаритѣ шестнадцать лѣтъ.

Въ Гунгербургѣ, гдѣ она гоститъ у своей кузины Аси, ее всегда сопровождаетъ толпа поклонниковъ: правовѣды, . . . лицеисты, пажи . . .

Она — красавица. Она лучше всѣхъ и здѣсь не пляжѣ, и въ гимназіи, и на балахъ.

Что ей до того, что при встрѣчахъ съ ней чопорныя барышни надменно отворачиваютъ свои носики и злобно шипятъ гувернантки! Она знаетъ цѣну зависти . . . Вѣдь все неприличіе ея поведенія — заключается въ шумномъ успѣхѣ.

Маргарита — чистая дѣвушка; поцѣлуямъ, мелькомъ сорваннымъ съ ея горячихъ губокъ, она не придаетъ значенія. Они не будятъ въ ней стыдливаго восторга . . . Правда, прошлымъ лѣтомъ, въ старомъ паркѣ имѣнія дѣдушки ее обжегъ поцѣлуй красавца сосѣда, барона Липпе. Она мечтаетъ о немъ съ тѣхъ поръ . . .

Дѣдушка громко кричалъ и бранился, встрѣтивъ ихъ однажды вмѣстѣ. Уже не было въ живыхъ заступницы бабушки и собачья плетка оставила на этотъ разъ красный слѣдъ на бѣлой кожѣ провинившейся внучки.

Баронъ Липпе — кутила, мотъ и безобразникъ, . . . бѣжитъ о немъ молва.

Онъ такъ строенъ и красивъ, . . . отъ него безъ ума всѣ дамы. Его бранятъ изъ зависти, шепчетъ голосъ ея юнаго сердца . . .

Неубѣдительны увѣщанія родныхъ. Тщетно гнѣвается и лишаетъ ее благословенія старый дѣдушка. Семнадцати лѣтъ входитъ Маргарита въ церковь, путаясь въ длинномъ шлейфѣ подвѣнечнаго платья . . .

— »Красивая пара«, — сопутствуетъ новобрачнымъ шопотъ восхищенія.

Увы! Скоро приходитъ къ концу медовый мѣсяцъ. Маргарита рѣдко видитъ мужа дома. Всѣ ночи онъ проводитъ въ клубѣ . . . Исчезаютъ ея брилліанты, завѣщанные бабушкой. Въ шкатулочкѣ съ перламутровой инкрустаціей хранятся лишь бумажки квитанцій ломбарда.

. . . Вечеръ. Маргарита сидитъ за остывшимъ обѣдомъ, а мужа все нѣтъ.

Звонокъ въ передней. Она бѣжитъ къ двери. На порогѣ незнакомая дама, красивая, нарядно одѣтая . . . Какой крѣпкій, душный ароматъ распространяютъ ея духи . . .

— Дома баронъ? —

— Моего мужа нѣтъ дома. —

— Мужа? . . . Ха . . . ха . . . ха . . . Мужа! Знаемъ, какъ онъ этихъ своихъ женъ мѣняетъ! . . —

У Маргариты слезы гнѣва и обиды на глазахъ.

Дама, смутившись, внимательно разсматриваетъ молодую женщину; быстро проходитъ по комнатамъ; открываетъ дверь спальни.

— Кажется, правда, Оскаръ женился, — говоритъ она про себя раздраженно и, потомъ, небрежно прибавляетъ:

— Вы, жена, передайте барону, что была Евгенія Никитишна . . . —

Она уходитъ . . . Маргарита возвращается въ столовую. Въ углу надъ кіотомъ мерцаетъ красный огонекъ лампады. Молча, опустившись на колѣни, простираетъ молодая женщина руки къ строгому лику Скорбящей . . . —

Никогда не забыть ей этого вечера . . .

— Сюда приходила Евгенія Никитишна, она не повѣрила мнѣ, что я твоя жена и приняла меня, кажется, за горничную, — сказала Маргарита поздно вечеромъ мужу, вернувшемуся подъ хмелькомъ.

Онъ пробовалъ утишить ея подозрѣнія сбивчивыми объясненіями дѣловой связи съ супругомъ этой дамы, но Маргарита не повѣрила, она чутьемъ угадывала, что связь эта не дѣловая . . .

Потомъ все, быстро покатилось по наклонной плоскости . . . Скандалы, . . протоколы, . . опись имущества, — завершились самоубійствомъ барона изъ за той-же Евгеніи Никитишны, на которую онъ потратилъ остатки приданаго Маргариты.

Въ осенній бурный вечеръ на Иматрѣ получила она телеграмму, извѣщавшую ее о скоропостижной смерти мужа.

Маргарита остановилась на мосту черезъ водопадъ. Шумъ пѣнящейся, падающей по острымъ камнямъ, воды заглушалъ стонъ ея сердца . . .

Она стояла такъ долго, . . . долго.

Ее пробудило прикосновеніе чьей-то руки. Маргарита обернулась: у перилъ, рядомъ съ ней, остановился старикъ въ поношенномъ пальто.

— Не надо, — сказалъ онъ вразумительно и мягко. Вы такъ молоды, вся жизнь впереди . . . Повѣрьте, всякое горе забывается, а это — всегда успѣете . . .

— Вода холодная, вытащутъ . . . Простуду только схватите и навѣки калѣкой останетесь . . —

Маргарита молча кивнула головой и пошла въ отель . . .

Занятія въ технической конторѣ . . . Тяжелые взгляды сослуживцевъ, не спускавшихъ съ нея влюбленныхъ глазъ . . . Ухаживающій тонъ начальства и потомъ случайная встрѣча съ Лилишъ.

Эдита Феликсовна Горнъ вошла, ослѣпительная и шумная, въ контору, гдѣ выстукивала на пишущей машинкѣ Маргарита.

Точно яркій лучъ солнца ворвался съ ней въ эту скучную, монотонную комнату . . . Она спросила директора. Его не было. Рѣшивъ подождать его возвращенія, Лилишъ прошла въ кабинетъ. Сквозь раскрытую дверь ея скучающій

взглядъ остановился на грустномъ, задумчивомъ лицѣ Маргариты.

— Kindchen, was machen Sie denn hier? — спросила она съ удивленіемъ.

Маргарита молча улыбнулась.

— Вы совершаете преступленіе . . . Вамъ не мѣсто въ этихъ, плохо оштукатуренныхъ, стѣнахъ. Приходите ко мнѣ завтра. Мы вмѣстѣ обсудимъ ваше положеніе . . . —

Лилишъ скрылась, оставивъ по себѣ струю тонкаго аромата.

— Вотъ женщина! Павлищеву она бѣшенныхъ денегъ стоитъ! . . Кругомъ пальца его обвела, . . — доносились до слуха Маргариты пересуды сослуживцевъ.

Ахъ вотъ кто была эта нарядная дама! . . . Такая-же, какъ Евгенія Никитишна, пронеслось въ ея мысляхъ, но она все-таки пошла по указанному адресу.

. . . Красивая, изысканная обстановка. Нарядная горничная проводитъ ее въ будуаръ. Навстрѣчу поднимается Эдита Феликсовна, сіяющая свѣжестью, окутанная тонкой паутиной кружева утренняго платья . . .

Милая, сердечная Лилишъ, умная, образованная и хозяйка чудесная! Какъ легко съ ней бывало; все она понять умѣла, и утѣшить, и ободрить . . . Никогда тѣни соревнованія, мелочности, сплетенъ.

Эдита Феликсовна воспринимала жизнь весело, легко и свободно.

— Мой милый другъ, вѣрьте мнѣ: — напрасно названіе »демимонденка« такъ отпугиваетъ дамъ общества. Мы такія-же женщины, такъ-же любить и страдать умѣемъ, но только ханжества въ насъ меньше; . . . проще мы смотримъ на отношенія между людьми и знаемъ цѣну мужской вѣрности.

— Повѣрьте, — завтра я калѣка – и на меня уже никто вниманія обращать не будетъ. Такъ вотъ, пока я молода и хороша собою и минуты счастья давать могу, я пользуюсь своей властью. —

— Любовь? Das ist Quatsch! По опыту это знаю . . . Любовь, вѣрность придуманы неудачными мечтателями. Въ жизни любви нѣтъ, есть только влеченіе.

— Идеальная любовь — болѣзненный заскокъ, диктуемый неудовлетворенностью желаній или мысли . . . Звѣзды высоко, . . а къ огню потянешься — только пальцы обожжешь!

Лилишъ купается въ надушенной водѣ, плещется, потягивается . . . Марго смотритъ на нее съ восхищеніемъ.

— Мы, домимонденки, умѣемъ сохранять красоту и пользуемся искорками счастія, — продолжаетъ Лилишъ, одѣваясь.

— Вотъ видите, въ этой баночкѣ — секретъ воздуха полей . . . А эта паста — отъ морщинъ предохраняетъ . . . Уши, Kindchen, непремѣнно подкрашивать надо. Я вчера за обѣдомъ наблюдала: мнѣ ваше лицо недостаточно жизненнымъ показалось. Блѣдныя уши мертвы . . . Вотъ такъ; теперь въ зеркало на себя посмотрите . . . Массажъ лица на ночь не забывайте дѣлать . . .

— Ахъ! Если бы у насъ уму-разуму и искусству нравиться поучились молодыя жены тѣхъ мужчинъ, что около насъ пропадаютъ! — Куда-бы это умнѣе было, нежели презрительные взгляды, которыми онѣ насъ при встрѣчахъ окидываютъ . . .

— Вы знаете, мнѣ вчера Веригинъ разсказывалъ, что жена съ нимъ недѣлю не разговариваетъ за то, что онъ мнѣ въ театрѣ при ней поклонился. Ну вотъ, онъ и пріѣзжаетъ ежедневно со мною поболтать . . . А всего шесть мѣсяцевъ женатъ и по любви женился. Веригинъ жалуется, что жена, безмѣрно, его своей тонностью маринуетъ. Вотъ увидите, — года не пройдетъ, онъ уже будетъ около демимонденки отдыха и покоя искать. Вчера онъ на васъ весь вечеръ заглядывался . . . Kindchen, — это ваша будущая жертва! —

Онѣ обѣ смѣются . . .

Однажды Марго проѣзжала по Невскому.

На углу Морской ее задержала волна уличнаго движенія . . . У трамвайной остановки стоялъ старикъ дѣдушка:

— Здравствуйте, внучка . . . Ишь на какихъ рысакахъ вы теперь разъѣзжаете . . . Чуть было меня не раздавили . . . А напрасно вы такъ; . . . въ деревнѣ работы по хозяйству и на васъ-бы хватило.

— . . . Соболя на васъ и брилліанты — состояніе цѣлое . . . И откуда у васъ замашки такія, — покачалъ онъ сурово бѣлоснѣжной головой.

— По наслѣдству отъ васъ, дѣдушка, передались, — дерзко отвѣтила Маргарита.

— Забыли развѣ о вашей бурно прожитой молодости? Судить другихъ куда вѣдь легче, нежели признаваться въ собственныхъ ошибкахъ. А въ деревню меня приглашать вы опоздали. Вѣдь, когда я въ горѣ и нищетѣ послѣ смерти мужа осталась, вы, сухой и черствый старикъ, не приняли во мнѣ участія! . . —

Лошади дернули экипажъ . . . Старикъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ суровымъ негодующимъ взглядомъ выцвѣтшихъ глазъ.

У Лилишъ Марго познакомилась съ Анной Львовной.

По воскресеньямъ у Горнъ собирался цвѣтникъ красивѣйшихъ женщинъ Петербурга.

Воскресенье — день нашего отдыха, шутили онѣ, а также отдыхъ женъ, дѣтей и матерей, которымъ мы въ этотъ день предоставляемъ пользоваться ихъ законными правами. —

Лилишъ не очень ладила съ Анной Львовной.

— Sie ist nicht klug und sehr eingebildet, — говаривала она про Анусю.

— Она любитъ наводить тѣнь — на майскій день, — ее, въ дѣтствѣ, кто-то о приличія ушибъ, — острили пріятельницы.

Анна Львовна очень полюбила Марго. Ее притягивало къ ней именно то врожденное приличіе, которое осуждали остальныя.

Онѣ часто проводили время вмѣстѣ. Анна Львовна жила открыто; гостепріимство было основ-

ной чертой ея широкой русской натуры. Въ ея гостинной постоянно толпилась блестящая гвардейская молодежь, часто безденежная, но, зато, безудержно веселая.

— Анна умретъ на соломѣ, . . она слишкомъ много времени удѣляетъ своимъ дармолюбамъ, — осуждала Лилишъ.

— У нея славянская, чуждая разсчета, душа, — заступалась Маргарита.

Ануся нравилась Марго своей набожностью, граничившей съ суевѣріемъ. Онѣ вмѣстѣ ходили въ церковь въ кануны большихъ праздниковъ; ежегодно говѣли, плакали у исповѣди и съ благоговѣніемъ шли къ причастію. Въ Свѣтлую заутреню пасхальный столъ Маргариты украшали присланные Анной Львовной, предварительно освященные пасхи и куличи, приготовленные подъ ея личнымъ наблюденіемъ.

Разговляться къ Анусѣ изъ года въ годъ приходилъ Ордежинъ и они, по установленному обычаю, садились въ эту ночь къ столу втроемъ; шутили и весело проводили время вплоть до утренняго разсвѣта.

На новый годъ Марго и Ануся были неизмѣнными гостями Ордежина. Онѣ уѣзжали къ нему на нѣсколько дней въ Финляндію; катались тамъ съ горъ, бѣгали на лыжахъ. Молчаливый Ордежинъ разцвѣталъ въ ихъ присутствіи. Веселый и любезный, онъ старался придумать всевозможныя развлеченія, чтобы подольше удержать ихъ въ

тиши усадьбы, занесенной со всѣхъ сторонъ снѣгомъ.

Здѣсь однажды Марго услышала исповѣдь Ануси; узнала тайну ея любви къ Ордежину . . .

— Сегодня Тося особенно ласковъ и нѣженъ со мною, — сказала Анна Львовна, шопотомъ. Я хочу попытаться вернуть его любовь; . . воскресить прошлое . . .

— Я пойду къ нему пожелать спокойной ночи. Какъ вы думаете, — онъ не прогонитъ меня? — спросила она Марго, прижимая руку къ сердцу бьющемуся съ такой силой, что до слуха Маргариты долетали его толчки.

Ануся стояла передъ ней блѣдная въ прозрачномъ легкомъ пенюарѣ, въ кружевномъ чепчикѣ, какъ картинка красивая, взволнованная, съ горящими огнемъ и страхомъ глазами.

Маргарита, безъ словъ, широкимъ крестомъ напутствовала ее. Она прислушивалась къ стуку ея каблучковъ внизъ по лѣстницѣ. Когда они смолкли, Марго привернула лампу и легла спать. Не прошло и четверти часа, какъ ее пробудилъ изъ дремоты слабый стукъ въ дверь. Это была Ануся.

Всю ночь она билась въ истерикѣ на плечѣ Маргариты . . . Ордежинъ былъ непоколебимъ. Онъ нѣжно, по братски попрощался съ Анной Львовной, точно не понялъ, . . не хотѣлъ понять ея порыва.

— Все разбито, жизнь не мила мнѣ безъ него, . . — рыдала Ануся; онъ не понялъ — чего стоилъ моей гордости этотъ шагъ . . . Онъ не знаетъ, какъ я люблю его, . . его одного. Я забвенія

ищу, отъ тоски убѣгаю, сжигая жизнь съ обоихъ концовъ . . . Я не измѣнила ему тогда, Марго, я только развлеченія искала, забавы. —

— Такъ почему-же вы не сказали ему этого Ануся, не объяснили всего откровенно . . . —

— О, онъ обидѣлъ меня такимъ оскорбительнымъ словомъ въ ту ночь . . . и, потомъ, онъ все равно не повѣрилъ-бы . . . Вѣдь я его обманула! . . .

Черезъ мѣсяцъ Анну Львовну нельзя было узнать. Она безумствовала въ полномъ значеніи этого слова. Оргіи, которыя она устраивала, отшатнули даже Маргариту.

Внезапно застрѣлился уважаемый всѣми старикъ, банкиръ Гроссманъ, истратившій на чудачества Анны Львовны кліентскія деньги.

Прочитавъ утромъ въ газетахъ о его самоубійствѣ, Марго побѣжала предупредить Анусю. Ей до слезъ было жаль милаго, хорошаго старика, безумно влюбленнаго и потерявшаго разсудокъ въ запоздалой страсти.

Маргарита часто увѣщевала Анну Львовну, уговаривая быть съ нимъ обходительнѣе и мягче.

Ануся лишь презрительно пожимала плечами. Она третировала старика, играя имъ точно кошка съ мышью.

— Мнѣ никого не жаль, . . меня вѣдь тоже не пожалѣли! . . . — упрямо твердила она въ отвѣтъ.

Смерть Гроссмана произвела на Анну Львовну сильное впечатлѣніе. На похороны она не посмѣла

пойти, хотя это было единственнымъ посмертнымъ желаніемъ старика.

Вся въ черномъ, блѣдная, съ подергивающимся лицомъ, поджидала она Маргариту.

— Онъ любилъ меня, какъ я Тосю люблю . . . Я знала, что онъ любитъ меня и на немъ Тосѣ мстила , . . — шептала она, роняя крупныя слезы.

— Если бы вы видѣли, Ануся, его жену, . . ея молчаливое горе . . . Его дѣтей . . . Они нищіе остались и опозоренные! . . . разсказывала разстроенная Маргарита.

— Не оставляйте меня одну на ночь, — съ ужасомъ просила Анна Львовна.

— Я боюсь, боюсь, . . не призрака боюсь, а вотъ здѣсь, — показала она на сердце, — совѣсти своей боюсь! . . —

— Помолитесь хорошенько и образумтесь впредь, — успокаивала Марго.

Со смертью Гроссмана, образъ жизни Анны Львовны круто измѣнился: она замкнулась, . . никого не принимала, ходила по церквямъ, ежедневно ѣздила на Смоленское кладбище къ нему на могилу.

Продавъ подаренныя имъ драгоцѣнности, она пополнила его растрату и остатокъ, анонимно, послала его вдовѣ.

Въ началѣ революціи Анна Львовна уѣхала на югъ въ родную станицу; оттуда, подъ напоромъ приближавшихся большевиковъ, переѣхала въ Одессу.

Гдѣ-то теперь Ануся, часто вспоминала о ней Маргарита. О Лилишъ она не безпокоилась. Расчет-

ливая и предусмотрительная Эдита Феликсовна, вѣроятно, мирно проживала въ своемъ родномъ Вольмарѣ, гдѣ заблаговременно пріобрѣла хорошенькую усадьбу.

Это было ея постоянной мечтой: заняться хозяйствомъ и спокойно доживать свой вѣкъ на проценты со скопленнаго капитала.

. . . Взошла луна. У озера квакали лягушки. Паркъ опустѣлъ. Маргаритѣ стало жутко. Кутаясь въ соболій шарфъ, она быстрой походкой вышла изъ глубины на широкое шоссе.

. . . Мимо мчались роскошные автомобили, . . мелькали освѣщенныя окна трамваевъ . . . Ей попался навстрѣчу сонный извозчикъ . . .

Когда она подъѣзжала къ дому, то уже издали различила на тротуарѣ знакомый силуэтъ мужа, обезпокоеннаго ея позднимъ отсутствіемъ.

Милый, . . . хорошій! . . . Какое счастье не быть одинокой въ чужой странѣ, тепломъ пронеслось въ ея утомленныхъ мысляхъ.

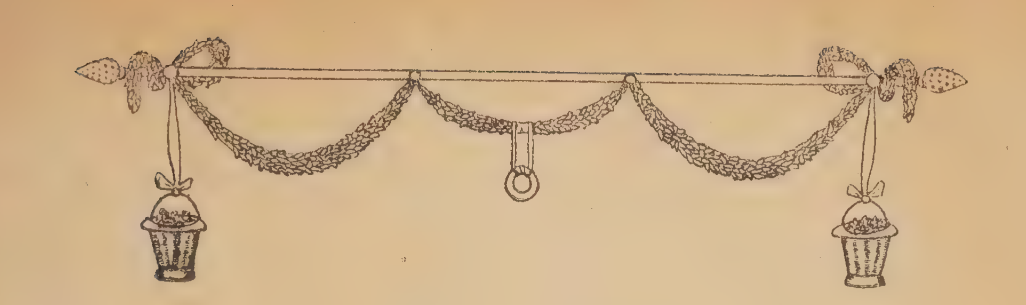
Одиночество — наивысшій, но и самый болѣзненный компромиссъ съ жизнью! . . .

Берлинъ. Августъ 1921 г.



8.

Фіалки.



— . . . Ваше превосходительство! . . . Такъ-что, смѣю доложить вашему превосходительству, со станціи нарочный письмецо-съ принесъ. —

Старикъ камердинеръ Капитонъ, въ потертой ливрейной тужуркѣ съ Георгіевскимъ крестомъ на груди, подаетъ своему не менѣе старому барину на серебряномъ подносѣ письмо.

Они много лѣтъ тому назадъ вмѣстѣ провели Севастопольскую кампанію и теперь коротали остатки старческихъ дней въ глуши Козловскаго уѣзда, въ старинной усадьбѣ, когда-то богатаго и большого родового имѣнія столбовыхъ дворянъ Ивиныхъ.

— Ну, давай ближе письмо, что подносъ къ самой груди прижалъ, точно подушку съ орденами за моимъ гробомъ нести собрался, — добродушно ворчитъ Петръ Ивановичъ Ивинъ, дрожащими руками надѣвая очки.

. . . Рѣдко приходятъ письма въ забытую усадьбу. Ивинъ растерялъ за долгую жизнь, прожитую въ полномъ уединеніи, своихъ прежнихъ многочисленныхъ друзей и знакомыхъ . . .

Сломавъ печать, онъ медленно вынулъ и развернулъ письмо: тонкій ароматъ фіалки пахнулъ

ему въ лицо и передъ плохо видящими глазами запрыгали буквы, разбудившія въ его ослабѣвшей памяти далекое воспоминаніе давно промелькнувшей юности . . .

Петръ Ивановичъ поднесъ письмо къ своимъ губамъ и запечатлѣлъ поцѣлуй на темнѣвшей подписи такъ много говорившей его сердцу . . .

Закрывъ глаза, онъ нѣсколько минутъ неподвижно отдыхалъ, откинувшись на высокую спинку рѣзного кресла, стараясь привести въ порядокъ свои мысли, разбѣжавшіяся отъ волненія и сильнаго впечатлѣнія произведеннаго на него подписью имени, когда-то, вѣрнѣе — всю жизнь боготворимой имъ женщины. Потомъ онъ принялся за чтеніе, по много разъ перечитывая каждое слово, каждую фразу . . .

Графиня Милютина сообщала милому Петрá, что, недавно овдовѣвъ, она возвратилась въ Россію приводить въ порядокъ свои дѣла по наслѣдству и, проѣздомъ въ имѣніе, будетъ черезъ десять дней на большой узловой станціи Ряжскъ.

Она проситъ его воскресить въ памяти странички ихъ красиваго романа и пріѣхать къ поѣзду на свиданіе.

Его фіалки, сорванныя имъ для нея ранней весной на Малаховомъ курганѣ, подъ перекрестнымъ огнемъ непріятельскихъ батарей, свято хранимы ею, какъ память о рыцарской, беззавѣтной любви человѣка, для котораго билось ея сердце, сдерживаемое напряженіемъ священнаго долга жены и матери.

Графиня намѣренно надушила письмо запахомъ фіалокъ, чтобы оживить въ его памяти воспоминанія дорогого, невозвратно — далекаго прошлаго . . .

Окончивъ чтеніе Петръ Ивановичъ аккуратно сложилъ письмо; снялъ очки и вынулъ изъ за воротничка мягкой сорочки золотой медальонъ на тоненькой цѣпочкѣ, неизмѣнно носимый имъ на груди. Открывъ замокъ, онъ устремилъ свои затуманенные слезами, выцвѣтшіе глаза на мягкій, свернутый колечкомъ, локонъ пепельныхъ, шелковистыхъ волосъ, подаренный ему при прощаніи графиней, когда онъ отбывалъ въ походъ.

Петръ Ивановичъ пошелъ на войну добровольцемъ. Онъ творилъ чудеса храбрости во имя женщины, свѣтившей ему путеводной звѣздой на мрачномъ, кровавомъ фонѣ битвъ.

Онъ искалъ смерти, но та бѣжала его. Послѣ сдачи Севастополя, Ивинъ, раненный и контуженный, вернулся домой и, отказавшись отъ продложенной ему блестящей административной должности, пошелъ служить по выборамъ, одновременно занимаясь сельскимъ хозяйствомъ въ своемъ запущенномъ имѣніи.

Годы шли . . . Петръ Ивановичъ женился, овдовѣлъ, постепенно отходилъ отъ интереса къ жизни; дряхлѣлъ, воспринимая лишь объективныя впечатлѣнія повседневностей.

Старый Капитонъ, волочившій перешибленную осколкомъ гранаты ногу, ухаживалъ за своимъ бариномъ съ собачьей преданностью слуги крѣпостного времени.

— Капитонъ! — Громко крикнулъ Петръ Ивановичъ. — Прикажи-ка Матвѣю приготовить тарантасъ и свести подковать лошадей къ слѣдующему понедѣльнику, да чтобы упряжь съ серебрянымъ наборомъ вычистилъ. —

— Такъ точно-съ слушаю-съ, ваше превосходительство, а мнѣ какъ-же прикажете: тоже парадную ливрею изъ сундука достать, чтобы все, такъ сказать, въ аккуратѣ было? —

— Ну куда тебѣ, Капитоша, въ такой холодъ чучелой рядиться. Ты въ своей буркѣ да въ папахѣ достаточно молодцомъ выглядишь съ Егоріемъ на груди! . . . — весело успокоилъ стараго слугу и соратника Ивинъ.

Онъ совершенно преобразился . . . Глаза загорѣлись; фигура пріобрѣла давно утерянную выправку . . .

Напѣвая излюбленный маршъ — »Громъ побѣды раздавайся« — Петръ Ивановичъ въ волненіи бѣгалъ по комнатамъ; останавливался, время отъ времени, у висѣвшей на стѣнкѣ карты съ мельчайшими подробностями сѣти дорогъ губерніи; поминутно вынималъ книжку съ росписаніемъ поѣздовъ и отмѣчалъ въ календарѣ крестиками число дней оставшихся до встрѣчи съ графиней.

Ему казалось, что его часы замедлили ходъ, что день необыкновенно затянулся . . . Онъ ежеминутно звалъ Капитона, обсуждая съ нимъ всѣ детали своего костюма, который слуга долженъ былъ ему приготовить къ этому исключительному событію въ его жизни.

Петръ Ивановичъ забылъ объ утекшихъ годахъ . . . Образъ графини рисовался ему юнымъ и обольстительнымъ, тѣмъ самымъ, какъ полъ-вѣка тому назадъ.

* * *

. . . Наконецъ наступилъ желанный день.

Утромъ къ крыльцу подкатила тройка, громыхая бубенцами, и Петръ Ивановичъ въ николаевской шинели и въ дворянской фуражкѣ, подсаживаемый подъ локотки Капитономъ, опустился на широкія, порыжѣвшія отъ времени, кожаныя подушки сидѣнія.

Капитонъ степенно помѣстился рядомъ съ кучеромъ на козлахъ и старинный, тяжелый тарантасъ на англійскихъ рессорахъ, покачиваясь и подпрыгивая по замерзшимъ кочкамъ, обогнулъ усадьбу и выѣхалъ на широкую большую дорогу обсаженную по обѣимъ сторонамъ старыми, дуплистыми ивами.

Лошади, вначалѣ шибко подхвативъ экипажъ, постепенно сдавали ходъ и плелись мелкой рысцой. Холодный осенній день быстро уступилъ сумеркамъ и совсѣмъ стемнѣло, когда Ивинъ достигъ большой, узловой станціи Ряжскъ, отстоявшей въ трехъ верстахъ отъ захолустнаго, уѣзднаго городишки, носившагоо то-же самое названіе.

У Петра Ивановича отекли ноги отъ долгого, неподвижнаго сидѣнія и онъ еле-еле доплелся, опираясь на палку, до буфета I-го класса.

Старикъ буфетчикъ выбѣжалъ къ генералу на встрѣчу и, съ низкими поклонами, усадилъ его за отдѣльный столъ, за которымъ сиживали лишь почетныя персоны, случайно проѣзжавшіе черезъ эту станцію.

Смахивая салфеткой пыль со стула и настилая чистую скатерть, онъ шопотомъ сообщалъ Петру Ивановичу о проѣздѣ, на дняхъ, въ свое имѣніе на псовую охоту, Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго, который остался очень доволенъ приготовленными ему пожарскими котлетками и далъ золотой, на чай, повару.

— Вы ужъ прикажите, ваше превосходительство, приготовить »коклеты дю валяй«, отмѣнно, можно сказать, останетесь довольны. —

— Валяй — такъ валяй! — добродушно усмѣхнулся Петръ Ивановичъ. — А согрѣться, — дай мнѣ бутылочку шипучаго. —

— Съ красной головкой, прикажете? Ихъ Высочество такое-же кушать изволили, — молодцевато, сунувъ салфетку подъ мышку, спросилъ буфетчикъ.

— Нѣтъ, мнѣ лучше »Вдову Клико« заморозь, — вспомнилъ Петръ Ивановичъ марку, любимую нѣкогда графиней. — Да графинчикъ водки неси поскорѣе, подъ свѣжую икру. —

— Икорка первостатейная-съ, прямо изъ Сызрани вчера пришла, останетесь довольны, ваше превосходительство! —

Петръ Ивановичъ съ аппетитомъ принялся за обѣдъ. До прихода московскаго поѣзда оставалось ждать еще три часа и генералъ рѣшилъ под-

бодрить себя виномъ, чтобы произвести совсѣмъ молодцеватое впечатлѣніе на графиню Милютину.

Послѣ нѣсколькихъ рюмокъ водки ему пришло на память, какъ нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, когда о теперешнемъ большомъ вокзалѣ и помину не было, онъ, проѣздомъ на долгихъ, вмѣстѣ съ графиней остановился здѣсь на постояломъ дворѣ и какъ они весело смѣялись при чтеніи поданнаго имъ меню хозяиномъ, бывшимъ поваромъ изъ крѣпостныхъ, учившимся искусству стряпать въ Англійскомъ клубѣ, въ Москвѣ.

На меню стояло:

— »Супъ аля делисе аля декревисъ.
Жарковье зайцъ.
Пирожное будетъ.« —

Это своеобразное толкованіе обѣда привело въ веселое настроеніе молодую женщину, замерзшую и утомленную отъ длиннаго пути на перекладныхъ, и послужило темой для веселаго анекдота по возвращеніи въ столицу.

* * *

. . . Петръ Ивановичъ, постепенно, захмелѣлъ. Выпитое вино съ непривычки ударило ему въ голову. Окончивъ обѣдъ и щедро расплатившись съ буфетчикомъ, онъ попробовалъ-было погулять по платформѣ въ ожиданіи поѣзда, но рѣзкій порывъ вѣтра чуть не сшибъ его съ ногъ и онъ усѣлся на деревянномъ диванѣ у стѣнки.

Петръ Ивановичъ приподнялъ бобровый воротникъ, расправилъ серебрянную бороду и, мурлыкая »Громъ побѣды раздавайся«, незамѣтно задремалъ.

. . . А въ это время скорый поѣздъ, шипя и вздыхая, подъѣзжалъ къ станціи и изъ окна синяго вагона выглядывало старое, сморщенное, искусно подправленное лицо графини, нѣкогда блиставшей на горизонтахъ великосвѣтскихъ салоновъ обѣихъ столицъ . . .

Ея близорукіе глаза, напряженно, всматривались въ мутную мглу, плохо освѣщенной керосиновыми фонарями, платформы. Сердце ея, учащенно билось, какъ почти полъ-вѣка тому назадъ при встрѣчахъ съ юнымъ флигель-адъютантомъ, лихо танцовавшимъ съ ней, въ первой парѣ, мазурку на придворныхъ балахъ . . .

Поѣздъ остановился. Засуетились носильщики. Толпа прибывшихъ хлынула въ буфетъ . . .

Графиня вышла на платформу, слегка разочарованная, не видя передъ собой Ивина . . . Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ и наводя по сторонамъ черепаховый лорнетъ на высокой ручкѣ, она всматривалась въ лица проходившихъ, тщетно стараясь уловить милыя сердцу черты.

На мгновеніе ея вниманіе отвлекъ раздавшійся сильный храпъ. Морщясь, она перевела глаза въ сторону дивана, откуда неслись столь неэстетичные звуки.

Мигающій свѣтъ станціоннаго фонаря освѣщалъ сгорбленную фигуру Петра Ивановича; красный околышъ фуражки съѣхалъ въ сторону,

сѣдая борода глубоко уперлась въ грудь, поддерживавшую отяжелѣвшую отъ сна голову генерала.

Что-то знакомое въ чертахъ лица притянуло графиню, она близко подошла къ спящему, не опуская лорнета, который заколебался въ ея рукѣ.

— Петрà! . . . Ужели это онъ? . . . — горестно пронеслось въ ея похолодѣвшихъ мысляхъ . . . Петрà! . . .

Слезы мѣшали ей смотрѣть. Она поняла тщету своей мечты . . .

Только-бы не разбудить его, . . . только-бы скрыться, пока онъ не проснулся . . . Сохранить въ его памяти иллюзію . . . Не показаться ему такой-же жалкой и смѣшной каррикатурой прошлаго! . . .

Затаивъ дыханіе, графиня поспѣшно вернулась въ свое купэ и прижалась всѣмъ тѣломъ въ уголокъ дивана. Ей хотѣлось спрятаться, исчезнуть . . . распылиться! . . . Ея дрожащія губы считали минуты до отхода поѣзда . . .

Наконецъ, жалобно, раздался третій звонокъ . . Паровозъ круто взялъ съ мѣста и поѣздъ поплылъ мимо мелькающихъ фонарей платформы, въ безпросвѣтную темь унылой, холодной; осенней ночи . . .

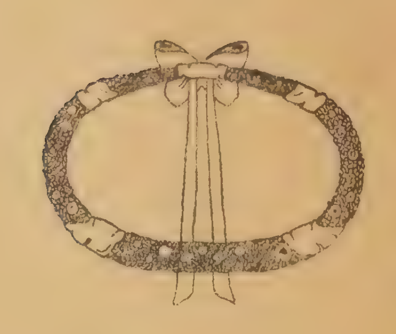
Графиня осѣнила себя крестнымъ знаменіемъ; потомъ достала изъ за корсажа пожелтѣвшіе отъ времени листки письма, и нѣсколько засохшихъ скелетиковъ, когда-то душистыхъ и свѣжихъ фіалокъ, сорванныхъ Ивинымъ на Малаховомъ курганѣ, подъ громъ рвавшихся снарядовъ, упало на сморщенную ладонь ея породистой, тонкой руки . . .

Крупная, одинокая слеза скатилась и оросила прахъ увядшихъ лепестковъ . . .

. . . А Петру Ивановичу снились сладкіе сны. Онъ не слышалъ ни прихода, ни отбытія поѣзда. Онъ былъ снова молодъ . . . Кругомъ горѣли восковыя свѣчи въ люстрахъ и въ высокихъ канделябрахъ огромнаго зала . . . Блескъ мундировъ, орденовъ, брильянтовъ и дамскихъ уборовъ, ослѣплялъ его глаза . . . Низко склонившись передъ красавицей графиней, въ роскошной бѣлой парчевой робѣ, съ темными локонами вдоль тонкаго, точно рѣзцомъ великаго мастера, вырѣзаннаго лица; онъ повелъ ее плавно въ мазуркѣ, . . неожиданно остановился и, лихо щелкнувъ шпорами, закружилъ молодую женщину вокругъ себя . . .

На ея груди темнѣли, распространяя ароматъ . . свѣжія фіалки . . .

Берлинъ, Сентябрь 1921 года.



Содержаніе.



Готовятся къ печати слѣдующія книги того-же автора:

„Улыбки и гримасы жизни“

(изъ мемуаровъ)

и

„Въ погонѣ за призракомъ“

(Романъ)

и

„Отрывокъ изъ мемуаровъ“

(Романъ)

